

Татьяна Олеговна Беспалова
Мосты в бессмертие
Серия «Военные приключения»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17104484
Мосты в бессмертие: Вече; 2015

Аннотация

Трудно сказать, как сложилась бы судьба простого московского паренька Кости Липатова, ведь с законом он, мягко говоря, не дружил... Но фашистские полчища настырно рвались к советской столице, и неожиданно для себя Константин стал бойцом восемьдесят пятого отдельного десантного батальона РККА. Впереди у него были изнуряющие кровопролитные схватки за Ростов-на-Дону, гибель боевых товарищей, а еще – новые друзья и враги, о существовании которых сержант Липатов и не подозревал.

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Костя	12
Глава 2. Гаша	69
Глава 3. Отто	104
Конец ознакомительного фрагмента.	135

Татьяна Беспалова

Мосты в бессмертие

© Беспалова Т. О., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

* * *

*...Русский Бог велик, и то, что делается у нас
впотьмах и наобум, иным и при свете не удастся
сделать.*

*При нашем несчастье нас балует какое-то
счастье. Провидение смотрит за детьми, пьяными
и за русскими...*

П. А. Вяземский

Пролог

Кислый, уксусный запах щекотал ноздри. Гаша протянула руку. Родимая темнота знакомого с детства места. Старый подвал. Задолго до рождения Гаши, до революции, дед переоборудовал его в винный погреб. Гаша опиралась на округлый, шершавый бок дубовой бочки. Рассеянно водила пальчиком по крану, слизывала влагу, припоминая ядреный вкус яблочного уксуса. Разрывы слышались все ближе, и Гаша крепче сжимала образок. Серебряная подвеска с изображением Казанской Богородицы покоилась у нее на груди. Еще один глухой удар. Подвал вздрогнул. С темного потолка на голову сыпалась струйка цементной пыли. Наверху, на улице, что-то рушилось с глухим грохотом. Гаша слышала прерывистое, на грани истерики, дыхание матери.

– Мама?

– Да...

– Скоро все кончится?..

Еще один удар. На этот раз прямо у них над головой. Уши заложило, но она все равно слышала грохот. Стало трудно дышать. В горле першило. Мать прижималась к ней, и Гаша чувствовала, как сотрясается от кашля ее тело. Гаша и сама закашлялась. Сквозь пыльную пелену Гаша видела, как оседает кирпичная стена. В подвал проник узкий солнечный луч. Он, словно следопыт, пробивался через клубы

цементной пыли, увлекая за собой собратьев. Гаша во все глаза смотрела на него.

– Мама, солнышко! – едва слышно прошептала она.

Гаша вцепилась ладонями в мягкое плечо матери. Та дрожала, но была жива. Жива! Следом за солнечным лучом в помещение ворвалось нестерпимое зловоние. Горло сдавил невыносимый спазм, кровь ударила в голову. Превозмогая нахлынувшую дурноту, Гаша вслушивалась в надсадный кашель матери – слава Богу, она в сознании. В луче света, проникавшего в подвал через пробоину, играли юркие, словно стрекозы, оранжевые пылинки. Гаша невольно залюбовалась ими, улыбнулась.

– Ну и нервы у тебя, Гаша... – выдохнула Александра Фоминична.

– Не волнуйся, мама, мне тоже страшно, – Гаша откашлялась и принялась пробираться через кирпичное крошево ближе к пробоине в стене.

– Не спеши, дочка! Может быть еще...

Словно в подтверждение ее слов, неподалеку ухнул новый взрыв. Гул каменной осыпи последовал за ним. На озаренной ярким солнцем улице взметнулись клубы пыли. Твердые кулачки осколков застучали по кирпичам, обращая их в пыльное крошево. Гаша сосчитала про себя до ста, подползла к пробоине и отважно выглянула наружу. В конце проезжей части, там, где начиналась ограда сквера Юных ленинцев, среди запыленных свежих руин, метались сполохи

пламени. Где-то заходился плачем ребенок, слышались истошные крики, грохот железа, звон осыпающегося стекла. А Гаша уже стояла под небом. Задрав голову к затуманенной цементной пылью синеве, она осматривала стену дома. Им снова повезло. Взрывная волна смела столбики крыльца, выбила стекла на втором этаже, но дом устоял. Гаша прислушивалась. Рокота авиационных моторов не было слышно. Над Кухмистерской слободой¹ висел лишь отдаленный, ставший привычным гул орудийной канонады.

Через полчаса руины начали оживать. Из подвалов вылезали люди. словно тени брели они по улочкам, лавируя между грудями битого кирпича. Счастливых поглощали черные зевы уцелевших парадных, прочие лезли на свежие руины, пытаясь разыскать между обломков остатки утраченного добра.

Внезапно кто-то ухватил Гашу за подол.

– Ленка, ты?

– Я! – отозвалась девчонка. Высокая, худенькая, в испачканном гарью платье, она подняла на Гашу узкое, покрытое свежим загаром лицо.

– Мы пересидели бомбежку в подвале восьмого дома, – серьезно сказала девочка, указывая грязным пальцам на распахнутый лаз в подвал соседнего дома. – Но мама спешит... Все время спешит...

¹ Кухмистерская слобода – пригород Киева, полностью разрушенный во время войны.

– Наконец-то мы нашли вас! – закричала Женя.

Гаша посмотрела на сестру. Женька спешила к ней по полуразрушенной улице. Оленька цеплялась смуглыми ручками за ее шею, а ножками обнимала Женю за талию. Обе показались Гаше отчаянно худыми, черными, как чертенята, словно вся гарь киевских пожарищ осела на их тела.

– Глафия! Глафия! – верещала Оленька.

– Да тише ты! – ответила дочери Женька, скидывая с плеч и ее, и тощий вещмешок.

На Женьке вместо обычного цветного шелка были надеты солдатские латаные штаны. Из-под кургузого пиджачишки выглядывала мужская сорочка.

– Мы роем траншеи... – устало выдохнула она. – Совсем скоро они придут, и девочкам там оставаться больше нельзя. Меня ненадолго отпустили за реку. А тут снова налет...

– Мы потеяли сумку с едой! – крикнула Оля.

– Она все время кричит, – выдохнула Женя, указывая на младшую дочь. – Киев бомбят непрерывно, и они по половине дня проводят в убежище с тетей Симой. А вчера...

Женька внезапно обняла Гашу. Ах, сколько силы оказалось в ее тонких, исхудалых руках.

– Тетю Симу вчера разорвало... – шептала она в гашино ухо. – Нашли только голову... кисть левой руки опознали по колечку. Ты помнишь ли ее колечко? Обручальное, с бриллиантиком?

– Как не помнить... – растерянно отозвалась Гаша, осво-

бождаясь из сестриных объятий.

– Мне не с кем их оставить, и я привела их к вам, – закончила Женя.

– А Павел?

– Он в ополчении. От него нет вестей с тех пор, как их полк ушел в сторону Хотова...² Скоро, скоро они придут сюда! Спасайтесь!

– Что с тобой? – усмехнулась Гаша. – Ты перестала верить в красных идолов?

Женькин рот брезгливо скривился.

– Ты моя младшая сестра, и я должна любить тебя, а потому не стану лгать: скоро, скоро все мы умрем. Но только не ты, не мама, не мои дети! Бегите! Скоро немцы будут здесь!

Внезапно, словно подтверждая Женькины слова, звуки разрывов сделались громче.

– Слышишь? – Женька запахнула пиджачишко. – Мне пора!

Женя подобрала с земли вещмешок, сунула его в руки сестры и снова порывисто обняла.

– Я ухожу, ухожу... – шептала Женька, и глаза ее оставались сухими.

Гаша, отстраняясь от нее, сняла через голову образок. Крупные звенья потемневшей от времени цепочки крепились к золоченому ушку образка. Гравированные по золо-

² Хотов – пригород Киева.

той фольге лики Богоматери и Младенца истерлись и потемнели. Образок передала Гаши младшая сестра их прабабушки, княжна Ворошилова. Гаши помнила, как мать ворчала тогда, называя образок залогом вечной девственности. Умоляла Гаши спрятать подальше семейную реликвию князей Ворошиловых – новая власть не верила в Бога и не жаловала верующих. В роду Ворошиловых, из которого происходила Александра Фоминична, было принято считать, будто древний этот образок дарует своей носительнице долголетие, но отпугивает женихов, обрекая на долгую жизнь в безбрачии.

– Оставь это! – воскликнула Женька, отталкивая руку сестры с образком. – Передай маме... скажи ей, что я люблю ее!

Женя заторопилась в сторону полуразрушенного сквера. Битое стекло истошно визжало под ее тяжелыми, солдатскими башмаками.

– Постой! – Гаши кинулась следом, отрывая от подола вопящих девчонок.

Она догнала Женьку, бесцеремонно схватила за ворот пиджака, дернула на себя. Младше сестры на десяток лет и на голову выше ее, она без труда справилась с Женькой. Без лишних слов, избегая Женькиного разгневанного взгляда, она надела ей на шею образок, спрятала древнюю Богоматерь под ворот сорочки, между грудей.

– Не вздумай снимать и проживешь как княжна Воро-

шилова до ста десяти лет! И вечная девственность тебе уж не грозит... – хрипло приговаривала Гаша. – А за нас не волнуйся. Ночи ждать не станем, засветло уйдем! Ищи нас после войны у тетки, в Запорожье. Слышишь, Женя!

Гаша старалась перекрычать вой перепуганных девчонок и отдаленный, нарастающий грохот. Оля и Лена, цеплялись за нее руками, смотрели вслед матери. А Женя убегала от них между дымящихся руин в сторону прекрасного Днепра, туда, где грохотало.

– Слышишь грохот, Глафира? – Лена подняла к ней узкое лицо.

Гаша кивнула.

– Там огненный великан на раскаленной наковальне кует наше горе...

– Да ты еще не знаешь, что такое горе, дитя, – Александра Фоминична подошла к ним, подняла Оленьку на руки.

Глава 1. Костя

Дрищ ловко поддел фомкой дверной косяк. Его широкие, обтянутые офицерской кожанкой плечи напряглись. Поверхность доски вздыбилась, пошла трещинами, раздался хруст.

– Еще немного поднажми, – пробормотал Мика-Мотылек. Неприметный, в сером длиннополном плаще, он подпирал сутулым плечом пыльную, испещренную трещинами штукатурку. Лицо его белело в полумраке подвального коридора. Под потолком из-под забранного решеткой плафона тускло светила лампочка в сорок ватт.

Нетерпеливо подпрыгивая, Мотылек скинул намокший бычок с нижней оттопыренной губы. Костя Липатов подпирал цементную стену рядом с ним. В его руке тускло горел фонарик, бросая бледное желтое пятно на раскуроченный дверной косяк и обшарпанную дверь.

Дрищ уже примерился скovyрнуть второй, навесной замок.

– Чей-то, ж? – просил он и тяжелая фомка, вывалившись из его руки, звонко грянулась об пол. – Замок-то... это... не заперт ить.

– Э? – Мика отжал Дрища плечом и неслышно порхнул в темноту склада.

Костя, последовав примеру Дрища, снял пистолет с предохранителя.

Дрищ показал Косте сначала растопыренную пятерню, затем кулак. Это означало, что надо сосчитать до пятидесяти. Костя вздохнул. Его, Костин счет, редко совпадал со счетом Дрища, тот мог досчитать только до десяти. В промежутке между первым и вторым десятком неизменно сбивался.

– Тридцать один, – едва заметно ухмыляясь, произнес Костя, когда Дрищ шмыгнул за дверь.

Луч карманного фонарика вырвал из мрака часть склада. Мешки с солью и сахаром, консервы, коробка спичек. Богатство! Вот в рядок выстроились керосиновые лампы. Плафоны покрыты толстым слоем пыли, но фитили новые. Костя достал из кармана спички.

– Смотри, Костян, спички не зажигай! Тут все керосином полито, того и гляди вспыхнет, – голос Мотылька звучал глухо.

Костя взял в руки фонарик. В его прыгающем луче стали видны низкой потолок, грязный, цементный пол, нога в новом кирзовом сапоге. Зачем это Мотылек на полу разлегся? На стене выключатель и витой электрический провод. Костя навел луч фонарика на потолок. Все нормально: вот забранные решетчатыми абажурами плафоны. Много, по пять в ряд.

– Зачем же ты керосин разлил, собака? – ворчал Дрищ. – Ишь как воняет та....

Но Мике не пришлось отвечать на этот вопрос. Луч фонарика наконец нашарил Мотылька. Тот стоял, низко надвинув

на брови хороший еще пыжиковый треух. Его грациозную не по годам фигуру украшала новая летная куртка, со светлой овчинной оторочкой. Галифе и офицерские хромовые сапоги тоже были новыми. В целом Мотылек мог бы выглядеть франтом, если б не обвисшие щеки и вылинявшие, обведенные темными кругами глаза.

– Зачем ты керосин извел? – ныл Дрищ, шаря по стеллажам. – Ну-ка, Длинный, посвети-ка сюда...

Он сгребал в мешок, лежавшие насыпью коробки с папиросами и пачки с махоркой.

– Чего застыли ссыкуны? Сгребайте товар! Или, думаете, товарищ подполковник даст вам время и после отбоя тревоги?

– Послушай, Дрищ... – начал Костя, но тут на полу, под ногами у Мотылька, что-то захлюпало.

– Эй, чего это там? – Дрищ остановился, а Костя недолго думая нажал на выключатель.

Он надеялся, что под низким потолком зажжется хотя бы одна лампочка, если, конечно, в сети есть напряжение. Пусть бы горела хоть в полнакала. Но лампочек вспыхнуло три. И каждая была ватт на сорок, и они горели полным накалом. В ярком свете удалось рассмотреть плоды немалых микиных трудов. На давно не мытом цементном полу лежали трое мужчин в советской военной форме строевой стрелковой части. Вроде бы двое рядовых, а третий – ефрейтор. Двое из них имели одинаковые раны. Мика колол, как обыч-

но, спереди, в основание шеи. Бил он, молниеносно перерезая сонную артерию, не оставляя жертве никаких возможностей для сопротивления. Ефрейтор еще жил. Зная Микину натуру, Костя предположил, что Мотылек нарочно недорезал старшего. Хотел допросить. И теперь тот тихо подвывал, корчась на полу с располосованным крест-накрест животом. Мика же флегматично стирал кровь со своего, ставшего знаменитым среди московской шпаны, тесака. Тесак этот изготовил один теплый фраер в слесарных мастерских на Шарикоподшипнике. Обоюдоострый, рукоятка украшена резьбой, раскрашена в яркие красно-синие цвета. Длинная, хватистая, она казалась чрезвычайно удобной, тем более что со стороны, противоположной лезвию, к ней крепился стержень с игольчатым острием. Этим-то стержнем Мика и протыкал своим жертвам сонные артерии. Зачем старому замоскворецкому бандиту понадобилось столь вычурное оружие, Костя так никогда и не смог уразуметь. С самого начала войны Мика повсюду таскал его с собой под курткой, в искусно выделанных ножнах из свиной кожи. Между тем раненый на полу потихоньку отходил.

– Mutter, Patronin, heilige Bonifatius und heilige Nikolaus, rette mich!..³ – едва слышно бормотал он.

– Что он говорит? – спросил Дрищ.

– Молится, – ответил Костя.

³ Матушка, заступница, святой Бонифаций и святой Николас, спасите меня! (нем.)

– А до этого по-русски балакал, – заявил Мотылек.

– И что же он тебе по-русски набалакал? – Дрищ начинал злиться.

– А вот то ж.

И Мотылек извлек откуда-то из-за спины, из темного угла, коричневый планшет.

– Посмотри-ка, Длинный. Что там? Бабло?

Костя поймал планшет, расстегнул, раскрыл карту, хранившуюся в нем.

– Это палево, Дрищ, – быстро сказал Костя. – Немецкая карта Москвы.

– Диверсанты! – Дрищ приблизился к раненому и что есть силы ударил сапогом ему в живот туда, где из-под переплетенных пальцев сочилась кровь.

Костя на миг оглох от крика. Захватив с собой пару ящиков с консервами, он поспешно покинул склад, подальше от неистовых воплей и кровищи.

Костя взбирался вверх по крутой лестнице, над ним в бледном квадрате распахнутой двери серело предзимнее небо. За спиной, в помещении склада, он слышал трескучую брань и возню, перемежающуюся нестерпимыми для костяного уха стонами.

Четвертый диверсант ждал его у выхода из подвала. Первый удар приклада пришелся в нижнюю челюсть, но Костя успел уклониться и приклад скользнул по уху. Терпимо. Инерция удара приблизила голову нападавшего к Ко-

стиному лицу. Они были примерно одного роста, и Костя ударил его лбом в переносицу. Отбросив один из тяжелых ящиков в сторону, перехватил второй обеими руками и нанес удар по туловищу, наобум. Диверсант охнул, но справился с дыханием и ударил Костю подвздох. Тот ожидал такого приема, он склонился, словно в земном поклоне. Быстрым, выверенным движением, Костя выхватил из-за голенища большой, самодельный, обоюдоострый нож с костяной рукояткой. Ощувтив в руке приятную, знакомую тяжесть, почувствовал себя уверенней, перевел дыхание, поднял голову, уклонился от пинка. На один лишь миг взгляды их встретились. Костя увидел тонконосое веснушчатое лицо, трезвый, не затуманенный болью взгляд, плотно сомкнутые губы. Намерен убить, не иначе.

– Ну что ж тут поделать? – Костя сделал глубокий вздох и бросился в атаку.

Диверсант оказался тяжелым противником – хорошо обученным, выносливым, безжалостным. Косте, привыкшему к кровавым уличным потасовкам, бессмысленным, буйным, но редко по-настоящему опасным, стало не по себе. Его хотят убить? Всерьез, так вот, походя, не из корысти, не из мести, не по пьяни, а просто потому, что оказался под рукой? Он изрезал противнику обе руки, несколько раз достал до туловища, но там на пути клинка оказался бронезилет. Дотянуться до горла опытный противник не позволял. Косте удалось выбить у стервеца автомат, завалить на землю, подмять

под себя, да так удачно, что оставалась возможность для мало-мальского замаха, и Костя вонзил широкое лезвие в правую глазницу врага.

– У-а-а-а-а! – взревел противник, широко разевая рот.

– Эх, зубы хорошие! Жаль портить! – пробормотал Костя, выдергивая клинок. Второй удар пришелся противнику в раскрытый рот. Костя еще пару минут сидел верхом на дергающемся теле, сжимая его бока коленями. Он подождал, пока враг перестанет дышать, неторопливо поднялся, вытер об его одежду лезвие, собрал в ящики разбросанные тут и там жестяные банки, подобрал и закинул в кузов полуторки автомат. Поудобней перехватив ящики левой рукой, Костя правой быстро перекрестился, пробормотал:

– Упокой, Господи, вражьи души....

– Да ты еще и верующий! – услышал он насмешливый голос. – Эх, чего только не увидишь в осажденной Москве?! Подумать только! И верующий, и бандит!

Говоривший оказался высоким человеком в военной форме с нашивками капитана ВВС. Костя посмотрел в сторону кузова, туда, где лежал автомат.

– Да ладно! Не кипятись! – открытая улыбка сияла на симпатичном лице летчика.

Он был среднего роста, рыжеват, широкоплеч, на вид лет сорока. В принципе ничем не примечательный мужик. Но что-то мелькало в его взгляде, когда он смеялся. Хищная отвага? Необузданное бесстрашие? Костя огляделся. Ни-

кого. В переулке между набережной и Павловской улицей не оказалось ни души. Из кабины полуторки не доносилось ни звука. Уж не заснул ли Пахомыч? А может, мертв?

– Водителя вашего я повязал, – снова засмеялся летчик.

Костя осторожно протолкнул ладонь в карман брюк. Браунинг оказался на месте, не выпал во время драки.

– Не надо! – взгляд летчика сделался твердым. – По нынешней панике в Москве, наверное, все можно, но ты не доставай из кармана... Что у тебя там?

– Браунинг, трофейный, – неожиданно для себя признался Костя и зачем-то показал летчику пустую ладонь.

Летчик смотрел на него, подняв обе раскрытые ладони, но на дне его глаз таилась угроза.

– Так ты отпускаешь меня, капитан? – угрюмо спросил Костя.

Ему ответил голос Дрища из-за распахнутой двери подвала:

– Эй, Длинный! Шаркай сюда! Прими товар! Ить тяжело мне.

– Меня зовут Иван Фролов, – сказал офицер. – Простое имя, запомнишь. Если надумаешь, до десятого ноября приходи на Донскую улицу. Институт глухонемых знаешь?

Костя рассеянно кивнул:

– Там теперь призывной пункт.

– Как придешь, подойди к майору Шаранову, попросись ко мне в команду.

Капитан быстро развернулся и зашагал прочь по улице.

– Бери тушенку, Длинный! – тяжело нагруженный Дрищ лез из подвала. Добротное пальто висело на нем, подобно больничному халату, французская папироска во рту испускала отечественное, дешевое зловоние. Растоптанные лаковые ботинки, шляпа хорошего фетра выглядели на нем нелепо, словно дорогая упряжь на полуживом мерине. Костя предпочитал держаться подальше от Дрища, справедливо полагая, что пребывание того на свободе уже сильно затянулось.

– Чего застыл, комсомолец? Там еще сигареты американские, пару бы ходок сделать!

Над их головами заняла гнусаво сирена воздушной тревоги, и тут же в отдалении прогрехотали первые взрывы.

Костя кинулся в подвал, за его спиной топотал Дрищ.

Внизу Мотылек не терял времени даром. Мертвецов и след простыл, лишь из-под нижней полки стеллажа торчала ступня в армейском кирзовом сапоге.

– Эй, пыжик! – Дрищ пихнул Мотылька мыском подкованного сапога. – Поторопись! Допрыгаем до барыги, пока фашист на головы совдепов бомбы мечет.

– Сам ты совдеп! – огрызнулся Мотылек, сдергивая с крюка новые, пахнущие влажной шерстью валенки. Черно-серые, скрепленные продетой сквозь голенище бечевкой, они висели над полками с бакалейным товаром, словно настенное украшение.

– На что тебе обувка? Жратва ныне в цене! Жратва! Через неделю в Москву войдет немец, и тогда мы с тобой, плюгавый, сбегрим спички и керосин в обмен на твердую валюту! Дойчмарки это тебе не червонцы отца народов! – кудахтал Дрищ, кривобоко переваливаясь к выходу со склада. – Давай! Шевели крылышками, Мотылек! – Дрищ не умолкал. – Пахомыч уж заждался и, слышь-ка, бомбят за рекой Тверскую! Самое время сваливать!

Костя шумно вздохнул. Он уже перекинул через плечо напленный добычей мешок.

– Что стонешь, Константин? – хмыкнул Дрищ. – Зубы болят?

– Одурающе скучный гон, – буркнул в ответ Костя.

– Я те говорил, Дрищ. А малый-то непросто скроен. Не только ноги у него длиннай! – заржал Мотылек. – Давай, давай! Двигай на выход, баклан! Сейчас янычары нагрянут!

А Костя уже поднимался по лестнице. На верхней ступеньке лестницы топтались пыльные, воняющие дегтем копыта Пахомыча.

– Жив, Пахомыч? – мимоходом, протискиваясь мимо него по узкой лестнице спросил Костя.

– Дак он вернулся, – Пахомыч сплюнул. – Я думал – хана, прирежет. А он только веревки перепилил – и ходу. Справедливый фраер.

– Освободил тебя?

– Да...

– Как же ты, старик, дал себя и повязать, и развязать?

Пахомыч широко улыбался, показывая Косте ряд блестящих железных зубов. Он крутил на пальце латунное колечко, звенел нанизанными на него разномастными ключами.

– А я ему твою молодую душу на откуп пообещал. Он хвалил тебя и приветы передавал... Понравилось ему, как ты дерешься... – Пахомыч принял мешок, бросил его в обшарпанный кузов полуторки.

Дрищ и Мотылек выволакивали из подвала мешки с обмундированием и короба с провиантом.

– А что со жмуриками станем делать? – спросил Пахомыч.

– Может, немчиков попросту щебенкой закидать? – предложил Дрищ. – Свои ж и похоронят потом...

Но Пахомыч вместе с Мотыльком уж покидали тела в кузов полуторки. Пахомыч еще несколько минут копошился в кузове, закрывая поклажу брезентом.

– В Москву-реку мертвяков кинем. Подумают, будто с Усово принесло, если выловят. Немцы уж в Усово, в Усово... – приговаривал старик, накручивая вороток.

Костя закурил. Прислушивался, смотрел, щурясь от папиросного дыма. Наконец двигатель полуторки завелся, зарычал, исторгая из прогорелой трубы сизый выхлоп.

– Садись в кабину, Длинный! – Мотылек гостеприимно распахнул пассажирскую дверь, скользнул задом по драной оббивке ближе к насупленному Пахомычу. Но Костя в кабину лезть не стал. Буркнул раздраженно:

– Теперь я на стреме побуду!

Полуторка тронулась, а Костя так и остался стоять на подножке со стороны пассажирской двери. Одной рукой он держался за стойку кабины, другой нащупал в кармане холодное тело браунинга.

Пахомыч, умело лавируя, колесил по переулкам между Павловской и Большой Тульской.

– Держись подальше от вокзала, – поучал водителя Мотылек. – Там энкавэдэшников, что камней в брущатной кладке, на каждом углу, на каждом шагу...

Пересекли Серпуховскую площадь. Костя соскочил на углу, там, где Полянка ответвляется от Якиманки. Грузовик загромыхал по разбитой брусчатке в сторону Каменного моста. Дрищ что-то кричал ему из кузова, размахивая длинными руками, но Костя скользнул в подворотню, затаился в густой тени арки. Мимо него по улице шмыгали сутулые тени – первые прохожие. Наступало холодное утро шестнадцатого октября. Немецкие дивизии стояли под Москвой.

* * *

– Мишка! Просыпайся! – голосила Мария Матвеевна, ударяя пухлым кулачком по обшарпанной филенке. – Просыпайся, злодей! Вода снова выкипела... Дрыхнет, словно мертвый – боец трудового фронта! Вставай! Я снова воду поставила! Эх, делать-то мне больше нечего... Вставай, пока

газ есть!

Костя, вжимаясь лопатками в неровную стену коридора, попытался пробраться в свою комнату.

– Костя, внучек! – Мария Матвеевна обернулась. Неожиданно стремительным для такого дородного тела движением, она надвинулась на Костю и приперла его животом к стене.

– Бабуля! – заныл Костя. – Ну, пожалуйста...

– Ночью была бомбежка! Я тряслась от страха в убежище, а Ивановы спали крепким сном! Колька даже не проснулся, когда у них взрывной волной стекло выбило! Чувствуешь, как из-под их двери тянет? Надо бы хоть фанерой забить. Ты бы лучше помог, чем шляться под бомбами. Из домоуправления опять справлялись, дескать, почему ваш внук не вышел на дежурство. А что я отвечу? Так и сказала: шляется мой внук неизвестно где. Есть у моего внука дела поважнее, чем ваши зажигалки тушить.

– Я видел, в четвертом Голутвинском дом сгорел, – попытался отвлечь бабулю Костя.

– ...и наш бы сгорел вместе с ним, если б все были такими ж обязательными, как ты! В пятый дом бомба попала. Взрыв был!!! Вот у Ивановых стекла-то и вынесло, – стояла на своем бабуля. – Хоть бы банда твоя тебя поперла вон! Хоть бы страх их из Москвы выгнал! Хоть бы их поубивало! Вот я теперь знаю, что такое прямое попадание! Видела! Уж думала, все повидала на своем веку...

Губы Марии Матвеевны дрожали, лицо сделалось крас-

ным, юркие, серые лаза наполнились слезами гнева. И она заговорила на английском языке:

– Think about a father and mother! They are gone! They are gone! Looking for the same fate? And you thought of me? No! I can not bear it! Denounced gang and you written off sins!⁴

– Бабуля! О чем ты? Какая банда?

Но она не давала ему говорить, зажимала рот мягкой, пахнущей кофейной гущей рукой и лопотала на французском языке:

– Ah, que le diable faites-les glisser dans un enfer brûlant! Écume Rotten, canaille, des pilleurs!⁵

– Да они уж сами смылись, бабуля! Зачем ты о чертях? Нехорошо... – попытался отпереться Костя. Но Мария Матвеевна не унималась, она перешла к благородной латыни и говорила теперь совсем тихо, словно силы совсем оставили ее:

– Parvulus es, bonus puer sis! Respice in servos tuos et septem annos, ita ut comprehendat; Manu valida mas non intelligo, quia contingi ac latrones. Et ego? Quid faciam?⁶

⁴ Вспомни об отце и матери! Они сгинули! Они пропали! Ищешь такой же судьбы? А обо мне ты подумал? Нет! Я этого не переживу! Донеси на банду, и тебе спишутся грехи! (*англ.*)

⁵ Ах, пусть черти тащат их в огненное пекло! Поганое отребье, шпана, мародеры! (*фр.*)

⁶ Ты совсем юный, ты хороший мальчик! В твои семнадцать лет так много постичь! Я понимаю, тебе не хватало сильной мужской руки, потому ты и связался с ворами. А я? Что я могу? (*лат.*)

Костя отрешенно рассматривал бабушкину седую макушку, обрамленную короной тугих кос, острый кончик ее носа, покрытый гневным румянцем, ожерелье из полированных аметистов на ее выдающейся груди. А бабушкины увещевания между тем продолжали метаться между гневной бранью и жалобными мольбами. Но Костя с облегчением отметил, что она наконец перешла на немецкий язык – значит, дело двигалось к концу. Выдав в родственную грудь залп отборных немецких ругательств, Мария Матвеевна иссякла.

– Тебя все равно поймают и отправят на фронт, – сказала она, устало отступая к мишкиной двери. – Штрафбат! Вот что тебе светит! А если сам явишься, может быть, попадешь в хорошую часть. В марте тебе исполнится восемнадцать и тогда...

– Сейчас все части хороши, – проговорил Мишка, подавляя зевок. Его очкастая физиономия высунулась из-за обшарпанной двери. – А почему, тетя Маня, вы не отведете его за руку на призывной пункт? Я слышал, Гришаню из двадцатой квартиры взяли. А ведь Гришаня на полгода Кости младше.

Теперь Мишка целиком выдвинулся из-за двери. На нем была латаная-перелатаная пижама. Костлявые, покрытые сетью синих вен ноги он всунул в старые, стоптанные, потерявшие цвет ботинки. Мишка разволновался, и очки в запаянной никелевой оправе подрагивали на его курносом носу.

– Гришаня на призывной пункт подался. Винтовку мечтал

получить, дурачок. А винтовки-то ему не дали. Так посадили их в кузов – и на передовую...

– Да не ври, – вздохнул Костя. – Какие вояки без оружия? Пусть даже ополченцы.

– ...посадили в кузов и на передовую, – гнул свое Мишка. – Старшина сказал, дескать, оружие возьмете у врага. Я сам слышал!

– Не смущай его разум, бездельник! – Мария Матвеевна снова покраснела. – Слухами земля полнится, и один слух хуже другого. Уж лучше я пойду и посмотрю, не закипела ли твоя вода, боец трудового фронта.

Она повернулась и, шаркая домашними туфлями, направилась на кухню. Ее приземистый, округлый силуэт темнел на фоне высокого кухонного окна. Она долго шлепала по длинному коридору огромной, полупустой коммунальной квартиры. Мария Матвеевна торопилась к плите. Там, на прокопченных чугунных конфорках исходил раскаленным паром чайник, там булькала в кастрюльке горячо любимая Костей пшенная каша с добытой несправедным путем сгущенкой.

Доходный дом в Третьем Голутвинском переулке, на углу. Летом, широко распахивая окно своей комнаты, Костя слышал Москву-реку. Она была совсем рядом, двигалась, дышала там, за крышами приречных домишек, за кронами старых яблонь и тополей. Он любил, отпустив педали, скачиваться на велике по Третьему Голутвинскому вниз, к на-

бережной. Там, на стрелке высились краснокирпичные корпуса кондитерской фабрики. Любил гонять по набережной до сумерек, пугая треньканьем велосипедного звонка гуляющие парочки, любил прибрежный парк. А школу не любил, часто прогуливал, учился спустя рукава. У бабушки вечно не доходили до него руки. Дочка кремлевского истопника, она по вечерам любила рассказывать ему, сонному, о прадеде, о том, как сама она частенько бывала в Кремлевском дворце на праздниках, устраиваемых комендантом для детей прислуги, о мозаичных полах, расписных потолках, о каминах, выложенных чудесными изразцами. Бабуля любила приврать, и Костя долго верил во вредных печных духов и добрых фей дворцовых фонтанов, в ангелов, хранящих покой царской усыпальницы, в пернатого демона, обитающего на могиле Грозного царя Иоанна. Бабуля, женщина характерная и даже вредная, нарочно вела разговоры с ним то на немецком, то на французском языке. Реже на английском. Подсовывала книжки, выслеживала, корила памятью давно сгинувших родителей. Да куда ей! Шустрый внук неизменно утекал из-под надзора, шатался по дворам, прибываясь то к одной компании, то к другой.

В огромной, многонаселенной их квартире Костю считали никудышным лентяем. А Мария Матвеевна, не в пример внуку, исправная труженица, чуть свет спешила в почтовое отделение и всю первую половину дня бродила по дворам в районе Большой и Малой Якиманки с объемистой ко-

ричной сумкой. Бабуля работала почтальоном. Вся округа знала и ее тяжелую походку, и ее непутового внука. Они с бабулей жили просторно, занимая в огромной многонаселенной квартире две небольшие, смежные комнаты. Соседнюю, самую большую в квартире комнату занимало семейство репрессированного офицера Иванова: Клавдия Игнатьевна, ее двое сыновей и годовалая дочь Галя. Мишка Паустовский, такой же, как Липатовы квартирный старожил, разгородил свою хоромину на две части: переднюю, без окна, и заднюю, с окном во двор. Спал Мишка крепко, дверь передней комнаты запирали на ключ: случись чего – не достучишься. Дверь в дверь с Мишкой проживал инвалид империалистической войны Передреев, человек без правой руки, угрюмый и озлобленный. Далее в апартаментах окнами на Голутвинский переулок множились рабочие семейства Токаревых и Рыбаковых. У Марии Матвеевны с Костей вечно выходил спор о том, сколько детей в семействе Токаревых и сколько у Рыбаковых. Бабушка с внуком находили консенсус лишь по общей численности: двенадцать. При этом Костя считал, что из общего числа детворы Валя Токарева произвела на свет семерых, а остальных родила Люда Рыбакова. Мария Матвеевна считала, что Люда и Валя честно поделили свое потомство поровну, как это принято у пролетариев. Спорный пацаненок, Васька Токарев, самый удачливый из жильцов квартиры, почитался Марией Матвеевной сыном Николая Рыбакова. Бабуля по-старорежимному

называла его внебрачным. В бывшей комнате для прислуги жила старая горничная бывших хозяев квартиры Изольда Власьевна Лыкова, тугая на ухо старушка – божий одуванчик. Провидение избавило ее от страхов новой войны, она не слышала воя сирен, не страшилась грохота разрывов. День и ночь сидела она в полутемной комнате. Проходя мимо ее двери, Костя неизменно слышал один и тот же звук – перестук коклюшек неутомимой кружевницы. В бывшей детской, выходявшей двумя узкими окнами в торец дома, обитала бухгалтер с «Красного Октября» Валентина Георгиевна Закутова. Ее бабуля с уважением величала «Дамой в модном пальто». Там, в бывшей детской, напротив облицованной кафелем печки, стояло пианино марки «Циммерманн». В те счастливые времена, когда Марии Матвеевне было еще по силам удержать Костю, Валентина Георгиевна сажала его за «Циммерманн». Он наловчился довольно чисто исполнять пару простеньких этюдов, но сольфеджио одолеть так и не смог.

В тот день, шестнадцатого октября, огромная квартира показалась Косте пустынной. Оделив внука пшенной кашей, забеленной и подслащенной из предпоследней банки сгущенного молока, Мария Матвеевна поведала ему новости, несвежие и безрадостные. Она рассказала о том, что и Валя Токарева, и Люда Рыбакова, и «Дама в модном пальто», и старшая из дочерей Токаревых, Аннушка, – все роют окопы.

– А бабка все жива, – добавила Мария Матвеевна. – Все колюшками стучит, и война ей нипочем, и пожары, а случись наводнение, она его и не заметит. Не Изольда имя ее, а Елга... А я все таскаюсь по службе. Иной раз думаю: зачем? И все равно таскаюсь. Должен же быть в жизни хоть какой-нибудь порядок, когда все рушится? Как считаешь, Вася?

Последний вопрос был обращен к «внебрачному» Ваське Токареву, который не замедлил явиться на кухню, едва учуяв запах пригоревшего пшена. Вася прибежал, хлопая большими, не по размеру валенками. В его чумазом кулаке белел засаленный листок.

– Записка! – сказал малец, протягивая листок Константину.

На лице Марии Матвеевны тут же появилась самая ироничная из всех ее улыбок.

– Любовное послание! – торжественно возвестила она. – Пропахшая трудовым девичьим потом весточка от пролетарской принцессы замоскворецкому бандиту!

– Перестань! – досадуя, Костя спрятал непрочитанную записку в карман.

– Ешь кашу, Купидон! – смеялась Мария Матвеевна. Она вытерла клетчатым передником ложку и подала ее Ваське.

Снова загудела сирена. В сумрачном коридоре замелькали смутные тени. Костя слышал знакомые голоса.

– Я иду в убежище, – говорила его бабушка кому-то. – Нет, я не боюсь. Но если вас тут завалит, кто-то же должен вас спасти? Так пусть это буду я. Что, засобирались? А малую-то не забыли? Не то будет, как в прошлый раз, – сами спасаются, а ребенка бросили...

– Это Клавдея, – проговорил насытившийся Васька. – Жорик в прошлую бомбежку даже не проснулся, когда у них выбило окно...

– Да, я знаю... – рассеянно ответил Костя.

Он смотрел за окно, там, несмотря на воздушную тревогу, кипела жизнь. Перекрывая надсадный вой сирены ревом мотора, во двор вкатилась порожняя полуторка. Расхристанная, израненная во многих местах осколками, с откинутыми настежь бортами, с пробитой выхлопной трубой. А во дворе творилась суэта неопишуемая. Колченогий тесть управдома, дед Денис, отбросив в сторону трость, ковылял к мусорному баку. Да и как ему, инвалиду, удержать в руках верную опору, если руки его полны бумаг? Да не один раз сбегал дед Денис от конторы до бака с полными охапками. Костя ждал с тайным злорадством: вот споткнется хромым инвалид да свалится в лужу на радость немногочисленным зевакам, на-

блюдавшим за его суетой из окон. Но дед Денис не только наполнил мусорку конторским хламом, но и бензином облил, и ловко поджег. Жадное, щедро вскормленное горючим, пламя быстро растерзало картонные папки вместе со всем их содержимым.

– Ишь ты, как стараются, – усмехнулся Костя.

– Мамка говорила пло пликаз. Дядька в погонах плинес, – тарактел «внебрачный сын пролетария». – Пликаз, понимаешь? Пликаз...

– Какой приказ? – нехотя спросил Костя.

– Все жжечь! – визгливо крикнул Васька и залился смехом.

– Надевай штаны, пойдем на крышу зажигалки гасить, – сказал Костя, не отрывая глаз от двора.

А там супруга управдома Аполинария Денисовна и сам управдом, называемый в народе Черепом, переругиваясь между собой, бойко грузили в полуторку домашний скарб. Между ними метался обезумевший от суеты и страха, взмыленный водитель, умоляя супругу управдома забыть о мебели.

– Поставил сундук на коробку с посудой! – вопила Аполинария Денисовна. – Эх, на что ж дана тебе лысая твоя башка? И снаружи она лысая и изнутри пустая! А шкаф-то, шкаф!

Но водитель уже спихнул тяжеловесное сооружение из потертого красного дерева на изрытый житейскими бурями асфальт двора.

– Мебель не повезу! – рявкнул он. – Мне еще на шоссе Энтузиастов надо троих человек с вещами забрать!

– Оставь, Полюшка! – вторил ему взмыленный управдом. – Водитель прав, прав...

Аполинарии Денисовне не дал возразить прогремевший неподалеку взрыв. Стекла кухонного окна жалобно задрезали. Водитель полуторки прыгнул в кабину, включил первую скорость. Костя хохотал, наблюдая как семейство управдома на ходу втискивалось в кабину водителя, как сам Череп лез в наполненный добром кузов. Лохматая заячья шапка, слетев с его головы, осталась лежать посреди двора, словно подстреленное животное.

* * *

– Большое дело – маскировка, – говорил дед Егорьев из первого подъезда. – В империалистическую таких витийств мы не знали. Да и напасти этой, аеропланов, тогда было малым-мало. А теперь? Поверь мне, парень, конец света случится из-за аеропланов!

– Не елопланы, деда! Самолеты! – вставил «внебрачный» Васька.

Пацан надел-таки и штаны, и вязанную шапочку. Теперь он стоял рядом с Костей на крыше. В правой руке – ведро с песком, левой держится за полу Костиной куртки. Поверхность кровли покатая, скользкая, слишком крутая для ма-

леньких ножек, обутых в большие, не по размеру валенки. К тому же впопыхах Васька перепутал ноги. Но так ли это важно, когда над головой в скрещивающихся лучах мощных прожекторов мелькают юркие силуэты крылатых, смертоносных созданий? Когда пространство прошито строчками очередей, когда в уши ломится дробный перестук зениток и уханье недалних взрывов.

– Ну вот, я ж говорил – вы перестали бояться! – радовался дед Егорьев. – Главное, чтоб не пустили газы! И хорошо, ой как хорошо, что зенитки стреляют! Это значит – немец еще не вошел в Москву!

Костя всматривался в пространство за рекой. Ни церковных куполов, ни башенных шпилей было не видеть. Зато сама река! Ее воды, словно окна в ночь, отражали в себе расцветенное огненными вспышками небо. Река, подобно покрытому блестящей черной шкурой недоброму, опасному, сказочному существу, извивалась в цементном ложе. Из темного ее зеркала на древний город тысячами алчных очей смотрели смятение, страх, безысходность. По набережным, невзирая на запреты воздушной тревоги, не прекращали двигаться потоки людей, и никто не препятствовал им. Казалось, будто небо разлучилось с землей, будто собралось оно в единый плотный ком, переполненный последней, предсмертной мукой, чтобы пасть в реку, чтобы взорвать мир, чтобы дать людям возможность хоть какого-то исхода. Короткую свою жизнь Костя прожил в этом городе и никогда

его не боялся. Да и чего ему, многим обделенному во младенчестве и не успевшему обрести своего, кровного, было бояться? Его тело, его душа, весь он являлся частью этой политой кровью и потом, плотно застроенной и вымощенной земли. Как он станет жить вне этого места, ведь любой орган умирает, если его отсекут от тела.

Косте стоило немалого труда раскурить папироску.

– Везет тебе, Коська, – пропищал Василий.

– В чем это мне везет?

– Ты большой. Можешь кулить, можешь Аньку тискать, можешь пойти воевать.

– А что, Костя, – внезапно спросил Егорьев. – Мария Матвеевна не собирается разве в Саранск? Я слышал, там у нее сестра.

– Нет, – коротко ответил Костя. Он озирался по сторонам в надежде, что свалившаяся с небес зажигалка поможет ему избежать новых расспросов.

– Ты же в десятый класс должен был пойти? – не унимался дед Егорьев. – Вот жалость-то! Останешься недоучкой!

– Я школу в этом году закончил, – нехотя буркнул Костя. – А восемнадцать мне исполнится в марте. Ты чего, дед, пристал?

– Это я-то пристал? – ухмыльнулся Егорьев. В непрестанно движущимся свете прожекторов его желтоватая борода и воздетый к небесам корявый палец то исчезали, то возникали вновь, но жиденский баритон звучал непрестанно:

– Вот я посмеюсь, когда до тебя доберется участковый! Я всегда говорил: вся ваша семья белая. И Маруся белая, хоть мать ее и родом из Саранска! Эх, была б у тебя совесть – сам бы пошел на призывной пункт. А так...

– Бабке своей советуй! – огрызнулся Костя.

Их перепалку прекратил сигнал отбоя воздушной тревоги. Схватив под мышку Васятку, Костя шмыгнул в чердачное оконце, прошлепал по вековой пыли чердака, спустился на площадку верхнего этажа.

– Костян, а плавду ли говолят, что ты вол и бандит? – шмыгнув носом, спросил Васька.

– Правду! – рявкнул Костя. – Я – вол, который вскоре превратится в героя, в пушечное мясо! Я гребаный бандит, я волк, который может перекусить твою тоненькую шейку! А ну, скидывай валенки! Это грабеж!

Они вломились в полупустую квартиру под звонкий Васькин хохот. На остывшей, пустой кухне Клавдия Алексеевна колдовала над примусом. Маленькая Галя сосала большой палец, прильнув к ее полному плечу. Костя хотел вскипятить чайник, но грозная фигура Марии Матвеевны преградила ему путь.

– Отчего вы не в убежище? – Костя попятился к двери. – Или уже вернулись?

– Вот тебе карточки! – прошипела Мария Матвеевна. – Завтра ступай их отоваривать. Все! А потом надо дрова пилить – зима впереди, а потом...

– Что случилось-то, ба?

– Что случилось? – голос Марии Матвеевны сел. Она закашлялась, обтерла руки о передник, выковыряла из середины четвертушки липкого, черного хлеба мякиш и сунула его в ручку Гали.

– Режут во время военной тревоги, – тихо, не отрывая взгляда от спиртовки, произнесла Клавдия Алексеевна. – Сначала на двор приходит капитан и учит детвору, как правильно бутылки с зажигательной смесью под немецкие танки кидать. Потом приходит шпана с ножами и обчищают пустые квартиры.

– Вы это к чему? – насторожился Костя.

– При прошлом налете в соседнем доме случилась история. Подруга Клавы, Таня с детьми ушла в убежище. А мама ее болела и осталась в кровати... – голос Марии Матвеевны снова пресекся.

– Они пришли во время налета, – продолжила Клавдия Алексеевна. – Выгребли все. Сухари, картошку – все. А бабушку... ну как это называют, а?

– Подкололи! – заверещал догадливый Васька.

Клавдия Алексеевна внезапно заплакала. Галя сразу же присоединилась к ней, забыв и о своем пальце, и о хлебном мякише.

Ай, не спокойной сделалась Костина жизнь, ай маятной! Две недели шатался он по Москве, стоял в очередях, с тоской рассматривая лица земляков. Пару раз сам слышал: хаяли советскую власть, не понижая голоса. Да и стукачей Костя насчитал меньше, чем обычно. Не мог же он внезапно утратить навык? Не стали же в стукачи определять малолетнюю ребятню, едва освоившую арифметику и алфавит? Безумие первых дней паники сменилось вялой стагнацией. Люди устали от непосильного труда, от постоянного страха за жизнь близких. Видно, правду бабка говорила, будто голод и холод притупляют чувства. Но ведь сам-то Костя не был голоден!

Вечерами они с Васькой собирали по дворам брошенную, бесхозную мебель, крушили ее на растопку. Через неделю вдоль стен коридора громоздились кучи деревянного хлама, пригодного для прокорма буржук. Вернувшиеся на денек с рытья окопов соседи, поглядывали на Костю с уважением.

Аннушка тоже вернулась. Костя смотрел на ее узкое, с тонкими чертами личико, на ее пепельную косу, целовал ее плотно сомкнуты губы, приговаривая:

– Когда ж ты, малышка, научишься целоваться?

– Уж и не знаю, – отвечала она дерзко. – Тебе, такому опытному, разве угодишь? Ты где-то спишь, не дома. Может,

не один? Может, нашел себе другую любовь, из блатных?

– Да тебе-то что? Разве я твой? – усмехался Костя.

– Не мой! – и глаза ее наполнились слезами.

Она заговорила жалобно, почти заискивающе:

– Мне так хочется поспать с тобой, хоть раз! Мы-то уж полгода как... – она потупила влажные глаза. – Да все по углам, мимоходом как-то. Неужто по-другому нельзя? Тем более что война...

– Не сейчас, – Костя обнял ее. – Вот разберусь с кое-какими делами, и тогда поспим с тобой.

Странный, незнакомый доселе страх мешал Косте ночевать под одной крышей с бабушкой, и он уходил на окраины города. Ныкался по хазам, проигрывая в карты добытый в смутные времена хабар, все чаще вспоминая летного капитана. Он ходил даже на Донскую, к Институту глухонемых. Притулился неподалеку, в подворотне. Посматривал издали на призывников, припоминая свой первый, июньский приход сюда.

Тогда он думал, что решил записаться добровольцем. Умышленно забыв дома паспорт, решил сказаться восемнадцатилетним. Но изменил решение, проведя сутки на грязном полу, изнывая от зноя и удушающего перегарного смрада. От вынужденного долгого бездействия, неопределенности, голода призывники перепились. Водку пили из бутылок с наклейками «Фруктовая вода». А один из призывников, немолодой уже и семейный мужик из соседнего дома, Тимка

Толокнов, по пьяни выпал из окна второго этажа. Костя, хоть и был трезв, недолго думая, прыгнул следом. Надо же спасти будущего боевого товарища! Надо ж обеспечить ему прибытие на передовую, в войска. Там пусть и увечится – все не напрасно, заодно и родину защитит. К ушибленному, пьяному, истомленному июльским зноем Тимке сбежалось все призывное начальство: и политрук призывного пункта с майорскими нашивками, и агитатор из райкома ВКП(б), и лектор из парткабинета. Прибежали и будущие вояки, собралась толпа. Поначалу судили-рядили в том смысле, что Тимка безвременно погиб. А тот проснулся лишь на минуту, разбуженный жестким столкновением с прогретым летним солнышком асфальтом, да и снова уснул. Посмотрел Костя на всю эту маету и не стал подходить к окошку регистрации, решил дожидаться своего срока. А осенью, в конце сентября, на кухне боец трудового фронта Колька Токарев толковал, будто все московское ополчение сгнуло бесследно в котле под Вязьмой. Из тех, кто уходил тогда, четвертого июля с призывного пункта на Донской, – ни один не вернулся...

А теперь, под первым мокрым снежком, высматривая в толчее у призывного пункта стукачей, Костя слышал речи совсем уж крамольные: дескать, любая власть от бога и сдавали уж Москву, а потом и обратно забирали. Говорили и том, как в продовольственных магазинах распродавали весь товар, чтобы немцам не достался. А на заводе Серго Орджоникидзе, дескать, выдали вперед зарплату. Ночи не про-

ходит без бомбежки – и немудрено! Немецкие аэродромы в тридцати километрах от Москвы. Хорошо, хоть в ненастную погоду не летают. Еще услышал Костя краем уха пугающие слова, дескать, просачиваются в Москву команды диверсантов и уж случилось немало поджогов. Поджигали во время бомбежек, под шумок...

Так день за днем приходил Костя к призывному пункту, слонялся неподалеку, прикидывая и высматривая летного капитана. С борта обшарпанной полуторки вещал невзрачный человечек, агитатор. В штопаном шарфе и кургузом пальтеце, человечек этот обладал чарующим, звучным баритоном. На звук его голоса, оборачивались унылые прохожие, нетрезвые призывники, оставив домино, смотрели на него с благоговением.

– Мы, рабочие и служащие Ленинского железнодорожного узла, заслушав сообщение о постановлении Государственного Комитета Оборона СССР, обещаем отдать все силы и жизнь на защиту нашей прекрасной, родной Москвы. Мы, железнодорожники, вместе с Красной армией будем уничтожать фашистских мерзавцев на подступах к Москве. Будем соблюдать строгий революционный порядок, разоблачать шпионов, паникеров и трусов. Превратим подступы Москвы в неприступную крепость, о которую разобьют свою голову гитлеровские бандиты. Родную Москву будем защищать до последней капли крови...

– У кого она еще осталась, – произнес над ухом Кости

скрипучий тенорок.

– Мотылек, ты?

– Посмотри! – и он поднял рукав своей летной куртки. – Прищепа меня порезал. Мухлюет, сука, в карты. Ну я ему по роже, а он-то меня ножом! Смотри!

– На что смотреть-то? – огрызнулся Костя.

– На кровь. Она не текет! Обескровил я! Нечего пролить за СССР.

– Зачем пришел?

– Дело возле Даниловского рынка.

– Не пойду.

– Дрищ обидится.

– Пусть.

– Соскочить решил? Мож, в студенты решил поступить?

– Нет, в солдаты.

– У Даниловского рынка риск меньше, даже если сибирских стрелков на караул поставят. – Мотылек порхал вокруг Кости, пританцовывая, засматривал в лицо, словно пытаюсь угадать тайные мысли. – Говорят, на фронте одно предательство, потому и подошел немец к самой Москве. И еще... – Мотылек приблизил сероватые губы к самому костинному уху: – Говорят, между Москвой и немцем ваще нет войск. Чудные дела! Почему ж тогда немец в Москву не входит? Говорят, тысячи сгнули в окружениях! И сотни тысяч! Так что у Даниловского рынка рисковать жизнью безопасней. В пятницу, на углу Сиротского и Мытной, в одиннадцать часов.

Дождемся воздушной тревоги и тогда...

Но Костя уже не слушал его. Он увидел наконец летного капитана. Тот ходил вдоль строя новобранцев, смотрел каждому в лицо, с некоторыми заговаривал. Рядом с ним вышагивал одутловатый, болезненного вида политрук с раскрытым планшетом в руках. Наконец летный капитан отобрал человек десять ребят.

– ...Придешь или нет? – гундел Мотылек. – Мы с Дрищем в непонятках. Что случилась? Заложить нас надумал?

– Приду, – угрюмо ответил Костя. – Ты жди, и я приду.

Костя двинулся вдоль кованой ограды, отделявшей двор призывного пункта от тротуара.

– Вспомни о Кровинушке! – сказал ему вслед Мотылек. – Наверное, вертится в гробу старый душегуб, видя, как ты товарищей верных предаешь.

* * *

Это случилось на Коровьем валу. Сирена воздушной тревоги застала его в очереди за хлебом. Уже давно перевалило за полдень, и на Москву опускались ранние предзимние сумерки. Не старая еще женщина с недобрим, отечным лицом в ватнике, толстой драповой юбке, белых нарукавниках и холщовом переднике одним духом разогнала очередь, сказав:

– Ступайте, товарищи в бомбоубежище. Во время налета

та отпускать хлеб не стану! Да и сон мне нынче приснился нехороший, будто всю Октябрьскую площадь взрывной волной разметало.

Когда очередь разошлась, Костя еще долго стоял, покуривая в темной подворотне, посматривая через просвет арки в исчерченное лучами прожекторов небо. Промерзший кирпич охлаждал ему плечо, но Костя не замечал холода. Над его головой разворачивалось невиданное действо. Мечущиеся лучи прожекторов выхватывали из темноты тучные тела аэростатов и юркие силуэты истребителей. Штурмовики прятались в ночи. Они обозначали свое присутствие звуками: заунывным гудением движков и тяжелым уханьем разрывов. Небесная феерия оживлялась прерывистыми трассами зенитных выстрелов.

– Сколько у тебя жизней, парень? – услышал Костя скрипучий голос.

– Сколько б ни было – все мои!

– Смелый, да?

Костя оторвался от созерцания боя в воздухе, чтобы посмотреть на приставучего незнакомца. Им оказался странный старик с бесцветными глазами, маленький и невзрачный. Лицо его поросло серым волосом, верхушку продолговатого черепа прикрывала потертая фетровая шляпа. Старик было холодно – мочки его ушей и кончик носа побелели.

– Ступай в бомбоубежище, – и старик грязным пальцем указал Косте за спину. Там, во дворе старого доходного до-

ма, в крошечном садике притаился старый купеческий особнячок с добротным, глубоким подвалом. В этом-то подвале и собирались жильцы окрестных домов, едва заслышав вой сирен воздушной тревоги.

– Не хочу, – капризно отозвался Костя. – Там тесно, дети плачут.

Где-то неподалеку ухнул взрыв. Земля у них под ногами содрогнулась. Старик продолжал что-то говорить, но Костя не мог разобрать слов. Он слышал лишь звон битого стекла, визгливые, истерические вопли, глухой гул, вой авиационных двигателей. Старик забавно шлепал губами, его усы и борода шевелились, обнажая блестящие, железные зубы, усталые бесцветные глаза хранили выражение глубокой печали.

– Вот и я не боюсь, – неожиданно рассмеялся Костя. – Лишь печалуюсь, но не боюсь.

На мгновение сделалось тихо. Лай зениток умолк, гудение двигателей прекратилось, словно эскадрильи штурмовиков зависли над городом в неподвижности.

Мгновение тишины позволило Косте снова услышать голос старика.

– Прячься! – настойчиво проговорил тот, толкая его ладонями под своды арки.

Во дворике у Кости за спиной что-то тяжело ахнуло. Костя обернулся. Он видел, как желтенький особнячок репрессированного нэпмана Обьедкова сначала вспорхнул вверх,

словно расшалившийся цыпленок, а потом осел обратно, на массивное бетонное основание. Стекла в особнячке осыпались в садик, но Костя не расслышал звона. Он вжался в стену арки, ожидая прихода взрывной волны, и она настигла его, толкнула в левое плечо, пытаясь вынести из-под спасительного свода наружу, под изрешеченное вспышками выстрелов небо. Костя, недолго думая, повалился на правый бок, пытаясь врасти в шербатый асфальт, подминая под себя странного старика.

Что-то ударило по затылку, что-то широкое, тяжелое, тупое. Вслед за ударом навалилась тяжесть. В уши ударил громовой набат, словно хищный зверь, вгрызаясь в сознание. Голова загудела, рот наполнился пылью, глаза ослепли.

Костю привел в сознание холод. Тело его тряслось в страшном ознобе. Где-то неподалеку с тихим шуршанием осыпались камушки.

Внезапно он обрел утраченный слух и услышал знакомый, хрипловатый голос. Это мать звала его:

– Вставай, сынок! Что это ты разлегся на холодной земле? Вставай, простудишься, снова начнешь кашлять. У нас с тобой у обоих слабая грудь. Вставай!

Костя попытался подняться. Вместе с ним зашевелился и незнакомый, приставучий старик.

– Ох, и костляв же ты парень! Отпусти-подвинься, я совсем закоченел.

Потом зазвучали и другие голоса.

– Тут они. Их кирпичом завалило, – говорил мужчина.

– Везунчики, – отвечал ему женский голос. – Сначала дверью парадного накрыло, а потом уж кирпичом присыпало.

Костя слышал грохот и шелест. Потом тяжесть внезапно исчезла, словно с его плеч сняли тяжелую гору. Стало еще холоднее.

– Да их тут двое, – снова заговорил мужчина. – Целы, счастливы? А ну, вставай, парень!

Костя почувствовал, как его голову, лицо, руки, ноги ошупывают внимательные руки.

– Парень цел, просто в шоке. Старик тоже цел, – сказал женский голос.

К Костиным губам поднесли что-то холодное. Он жадно выпил ледяной, с привкусом ржавчины воды.

– Давай, Мариша! Поторопись! Обьедковский дом рухнул подчистую.

Он не помнил, как оказался на развалинах. Он видел ободранные в кровь пальцы, разгребавшие дурно пахнущий мусор. Потом кто-то дал ему брезентовые перчатки и кирку. Он ничего не слышал, кроме голоса матери, который, звал и умолял о милосердии. Потом какая-то миловидная и молодая женщина врачевала его израненные руки, кормила, как ребенка, с ложки безвкусной кашей. Кажется, пшенной, а может быть, и ячневой. Потом они снова работали, и он снова слышал голос матери, но теперь к нему присоединились и другие голоса. С ним говорили погребенные в подва-

ле люди, он ясно слышал детский плач и жалобные мольбы.

– Мы задыхаемся... – шептали голоса. – Мы умрем от страха и жажды...

Он понимал: сначала им надо проделать в завале отдушину, иначе люди в подземелье задохнутся. Потом кто-то отбойным молотком принялся крошить крупные фрагменты здания, чтобы расчистить вход в подвал. Уже под утро к завалу притрюхал руководящий работник с красной повязкой на рукаве полушубка.

– Давайте, бабоньки, поднатужьтесь! – надсадно причитал он. – Эй, дедуля! Чего застыл? Нам ведь еще надо на Голутвинский поспеть, там подсобить.

– А что там на Голутвинском? – Костя наконец обрел дар речи.

– Что-что! Все то ж! Бомба упала, ясное дело. А якиманский народ он, знаешь ли, какой?

– Какой?

– Смелый больно! Страху в нем мало, вот и не уходят по сигналу в убежища. А нам работай потом до седьмого пота. А нам потом разгребай...

Костя вдруг почувствовал, что внутри у него все застыло, словно под пальто вместо разогретого работой тела налилась холодом ледяная глыба. Но он не утратил способности мыслить.

Он отшвырнул кирку, сбросил с рук брезентовые перчатки и уставился на покрытые окровавленными бинтами паль-

цы.

– Эй, парень, что с тобой? – спросила одна из женщин.

– Оставь его, Анна. Я знаю его. Он с Якиманки. Кажется, внук Марии Матвеевны, – сказала другая.

– Беги в Голутвинский, парень. Может, еще... – посоветовала третья.

А потом заговорил Кровинушка, старый московский воюга, отпетый бандит, уж пару лет как сгинувший где-то в северных лагерях.

– Ты помнишь, что я говорил тебе? – услышал Костя его вкрадчивый, тихий голос. – Я говорил тебе, сынок, чтобы ты перестал бояться. Жизнь под гнетом страха – хуже жара сатанинской сковороды. За наши кровавые дела нам по-любому в аду гореть, так не бойся и ада. Просто живи и не бойся. Прежде чем пришить скопидомного фраера, перестань бояться. И деньги утекут от тебя, и баба бросит, только самого себя не бросай. Ладно, сынок? Попомни отца своего, сгинувшего от страха. Он ведь все подписал, о чем его ни просили. Сам себя оговорил. А почему? От страха. А помогло ему это? То-то же. Так не бойся, не бойся! Живи, Длинный! Бесстрашие – это свобода. Свобода – это жизнь...

* * *

– Да что с тобой? На тебе лица нет! Что с руками? Ты ранен? Где шапка? Ты не простыл? – бабуля сыпала вопроса-

ми, как «максим»⁷ пулями.

– Я раскапывал завалы на Коровьем Валу, – вяло ответил Костя. Увидев свой дом целым, а Марию Матвеевну живой и здоровой, он поддался усталости. Ноги сделались ватными и тяжелыми, голова же – напротив, легкой и пустой. В ушах по-прежнему звенело. И еще ему ужасно хотелось есть.

– Бабуля, а поесть?

– Что поесть? Хлеба ты, конечно, не принес, но есть же еще картошка и там твоя... э... добыча. Да что ж ты стал в дверях? Ступай на кухню! Там все... и чайник еще горячий...

– А ты куда?

– А меня Марусенька ждет. Ты разве не слышал? Во Втором Голутвином в дом бомба угодила. Так весь народ там. Пойду посмотрю, может, не всех еще вытащили. А ты отдохай. На тебе лица нет.

* * *

К концу октября Костя совсем заскучал. Возвращаясь домой после отлучек, он старался подойти к дому с той стороны, где, сбегая с Малого Каменного моста, Большая Полянка и Якиманка расходились в разные стороны. И каждый раз, пересекая широкий перекресток, Костя, терзаемый страхом,

⁷ «Максимом» называли станковый пулемет, сконструированный американцем Хайремом Стивенсом Максимом.

зажмуривал глаза. Он мучительно боялся не увидеть родной, покато́й, выкрашенной облупившейся коричневой краской крыши.

Первого ноября проводили на фронт многодетного отца Николая Рыбакова и старшего из его сыновей – костинного одноклассника. Бабуля сильно терзалась. Зачем-то завела с Костей разговор о призывном возрасте, дескать, неслучайно в армию забирают после восемнадцатилетия и ни днем раньше. Наконец она привела последний, самый веский аргумент:

– Ты – единственное, что у меня осталось. Не станет тебя – и мне не жить...

– Ба, я должен. Ты понимаешь?

Они сидели рядом плечом к плечу на потертom кожаном диване в бабушкиной, проходной комнатенке. Диван, круглый, покрытый плюшевой скатертью стол, бабушкина никелированная с шишечками кровать, обувная тумбочка возле двери, буфет – все тонуло в сумраке. В небе за окном, засвечивая через светомаскировку, метались огни прожекторов.

– А как же я? – спросила она. – Мне шестьдесят два года. Значит, все, да? Ну что ж, пожила...

– Почему? – смутился Костя. – Все-то терпят. И ты терпи. Со мной ничего не случится. Вот увидишь. Просто я больше не могу, я больше не в силах... а тут такой случай...

И он рассказал ей и про диверсантов, и про летного майора. Он слышал бабулины слезы и ее тихие слова:

– Теперь уж я понимаю, что ты решился. Так открыто все мне рассказать... Да где ж это видано? Если б не решился, уж наверное, рассказывать не стал бы... Одно только в голове у меня не укладывается! Ты убивал людей! Ты!

– Зато теперь, бабуля, у меня больше шансов выжить в условиях, где, если я не убью, то убьют меня.

– Я схожу на Полянку, в церковь... – тихо проговорила бабуля, и Костя понял, что она плачет уже всерьез.

* * *

Он впервые увидел сибиряка возле баррикады, на Тверской, там, где зеркальные витрины гастронома под самый козырек подпирали мешки с песком. В белом дубленом полушубке, ушанке со звездочкой, в высоких, подшитых кожей валенках, он стоял на посту. Винтовка Мосина с примкнутым штыком стояла возле его ноги.

– Есть прикурить, служивый? – нагло спросил Костя.

Вместо ответа, солдат взял винтовку наперевес, целя острием штыка Константину в живот.

– Проходи! – сказал он коротко.

Ненамного старше самого Кости, но уже регулярно бреющийся, сероглазый, серьезный.

– Ишь ты! Охотник! – усмехнулся Костя, отступая назад.

Он торопился своей дорогой. Путь его лежал через весь город, в Марьину Рощу. На Маяковской в метро не пускали.

Пришлось тащиться пешком до Белорусской. Пути под мостом были запружены эшелонами с техникой и солдатскими теплушками. Костя шмыгнул в метро и... исчез на две недели. С хазы в Марьиной Роще его извлек Пахомыч. Старик явился в самый разгар торжества, под утро, когда Федька Угол уже проигрался до исподнего, а Макар как раз протрезвел и сел к столу. Костя уж подумывал о запечном тепле, глаза слезились от табачного дыма, а кишки саднило от хозяйской квашеной капусты.

– Тебя искал, – сказал Пахомыч со сладострастным стоном стягивая сапоги. – Что смотришь? Старый я. Наверно, не моложе твоей бабки и ноги загудели, пока дотолокся от Курской до этой вот дыры. Старый, дожил до старости, не чета вам.

Костя насторожился.

– Может, зря ты сапоги снял, Пахомыч? Может, выйдем на холодок?

– Посекретничать? Да у меня секретов нету. И Дрищ, и Мотылек, оба полегли.

– Напоролись у Даниловского рынка? Подстрелили?

– Куда там! – вздохнул Пахомыч. – У советской власти с патронами проблема. А из наших пацанов какие стрелки, а? Что смотришь? Ответ известен: стрелки они никудышные. Одного часового они ранили, побросали добытое и слинять намерились. Но их догнали и штыками, обоих... Даже пули для них не нашлось!

– Ты видел?

– Как же не видеть? Видел!

Костя задумался.

– Тебе ничего сделать не могут, – мрачно заявил Пахомыч. – У тебя призывной возраст. Ну если уж очень осатанеешь – к стенке поставят. А так... У нас братва базарит, будто аж из тюрем закоренелых урок повыпускали и всех на фронт. Всех на фронт... – повторил он.

* * *

Снег валил не переставая. Ранним утром седьмого ноября мостовая на Балчуге покрылась толстым его слоем. Костя застал самый конец парада, когда танки, сбивая строй, скатывались по Васильевскому спуску. Мимо него тарахтели полуторки. Зенитные расчеты в их кузовах, достали из вещмешков наградные фляжки. Прикладывались, смеялись беззаботно. Часть техники сворачивала направо, на Болотную, чтобы потом отправиться дальше, к Калужской заставе. Часть устремилась прямо, по Большой Ордынке. Они шли на фронт, а Костя все еще колебался.

– А ты все болтаешься без дела? – спросил летный капитан. Он подошел незаметно, снеговой накат гасил звуки шагов. – Приходил ведь к призывному пункту, я видел. Зачем не подошел? Ведь не струсил же...

– Почему думаете, что не струсил? – огрызнулся Костя. –

Тут много идейных дураков, готовых грудь под пули подставлять.

– Ух, ты! – капитан невесело усмехнулся. – Значит, ты не комсомолец?

– Не-а!

– Завтра последний день тебя жду. Потом улетаю из Москвы. Команду собрал – можно отправляться.

– Куда?

– Не скажу. Это военная тайна! Есть приказ главнокомандующего, будем его выполнять. Завтра жду тебя на Донской не позже восьми утра! – И капитан собрался уходить.

– Постой! – Костя ухватился за его рукав. – Разве ты забыл, что я бандит?

– Ты нужен Родине, бандит, – ответил капитан, не оборачиваясь. – Завтра в восемь или прощай.

Он быстро удалялся. Заснеженное ущелье Большой Ордынки загибалось налево, а летчик быстро шел, словно парил в лоскутах снеговой завесы. Костя сплюнул в снег.

– О как! – усмехнулся он. – Родине нужны ее бандиты.

* * *

На этот раз он шел домой другой дорогой. И ему было весело. И он с удовольствием слушал, как хрустит под ногами снег. Бабуля называла скрипучий снег небесным оркестром.

«Наверное, так звучит музыка небесных оркестров? – раз-

мышлял Костя. – Почему я раньше его не слышал?»

Вот он уже свернул с Большой Якиманки в переулок, обо-
гнул угол разрушенного бомбой дома. Миновал третий и пя-
тый номера. В снеговой пелене чернела арка знакомого па-
радного. Костя спешил. Ему непременно надо видеть Анну!
Безотлагательно! Одним духом он взлетел на третий этаж,
отпер обшарпанную, с многочисленными отметинами фом-
ки дверь и ступил в темный коридор. Щелкнул выключатель.
Где-то в конце, подобно путеводной звезде, в полнакала заго-
релась двадцативаттная лампочка. Первый шаг, второй, тре-
тий. Скрипнула половица. Следующая скрипнет через во-
семь шагов. Но сначала он заглянет в комнату Токаревых.
Там темно. Окно закрыто маскировочной шторой. Вот кто-
то дышит на железной кровати в углу. Блеклый свет, брыз-
нувший из коридора, отразился в никелированной шишечке.
Кроватная сетка едва слышно скрипнула.

– Аня?! – позвал Костя.

– Наконец-то... – едва слышно прошелестел сумрак.

Вот она поднялась с кровати. На ней лишь нижняя со-
рочка, шелковая с бледно-розовым кружевом – его подарок.
Вот она шарит руками на стуле – ищет платье.

– Не надо! – прошептал Костя. – Надень сразу пальто.
Мы пойдем на чердак.

Аннушка старше его на три года, но он привык относить-
ся к ней, как к младшей, и она всегда без прекословий пови-
нуется ему.

Они пристроились в самом теплом месте, у печной трубы. В пасмурную погоду дядя Леша-истопник раскочегаривал в подвале котел, и на чердаке, согреваемом печными трубами, становилось чуть теплей, чем на улице.

Он впивался в ее тело пальцами, мял его и вертел. Ставил на колени и вонзался сзади, укладывал на спину и, прижав ее дрожащие колени к груди, вонзался снова. Она, закусив зубами запястье, едва слышно стонала под его напором, ее пепельная коса растрепалась, щеки порозовели, лоб и худенькая спина покрылись испариной. Совершенно обнаженное, ее тело белело на серой подкладке его пальто. Со стропил, из-под потолка, на них равнодушно смотрели нахохленные голуби. Снаружи, над пустынным московским мраком бесновалась первая метель.

Иссякнув, он завернул ее в пальто, рухнул рядом в чердачную пыль, задремал.

– Что с тобой? – услышал он сквозь сон. – Ты словно с цепи сорвался... Я уж думала – ты меня сожрешь... Словно взрослый мужик...

– А я и есть взрослый, – прошептал он. – Завтра в восемь утра у призывного пункта...

* * *

Им так и не довелось проститься. В шесть утра его разбудили не поцелуи Аннушки, а Мишкина басовитая воркотня:

– Вставай, призывник! Вставай, вставай...

Костя поплелся следом за ним на холодную кухню, не позволяя себе думать о том, что это, может быть, в последний раз. В последний раз Мария Матвеевна в темно-коричневом шерстяном платье, с ниткой бус из поддельного жемчуга на шее, уже полностью прибранная для отправки на службу. В последний раз ее клетчатый передник, в последний раз ее взгляд, словно липкий пластырь, пристальный, оценивающий.

Костя ел знакомую еду, запивая ее чаем из знакомого фаянсового бокала с синей розой на боку. Бабуля молча смотрела на него с противоположной стороны стола.

– Ну что тут у вас? Проводы? – спросил Мишка.

Он оказался уж совсем одет в потертое габардиновое пальто и зачем-то в кирзовые сапоги.

– Куда ты, Мишка? – угрюмо спросил Костя. – Как все, в бойцы трудового фронта определился?

– Мишка!.. – отозвался тот. – Тебе ли, непутевому недорослю, меня, старую московскую интеллигенцию, словно собачонку, подзывать?

– Интеллигенция вся по тюрьмам...

– Ну да! Зато бандюки, как ты, на свободе!

– Тише вы! – шикнула на них Мария Матвеевна.

Она уж облачилась в гимнастерку, шинель и валенки. На голову, поверх синего берета повязала пуховый платок. Большая коричневая сумка висела у нее на боку.

– Я на службу, а вы прекращайте болтовню... Простим друг другу и... быть по сему! – голос ее внезапно пресекся.

– Ты, дядя Миша, куда теперь? – примирительно сказал Костя. – Окопы рыть?

– Окопы рыть, – эхом отозвался тот.

Мишка шагнул к двери, прижимая к груди узелок с простецкой провизией.

– Что ж вас на окопах и не кормят?

– Не кормят. Да и пустое это дело! Видел, на Тверской баррикад нагородили? Смешно и грустно.

– Видел и баррикады, видел и бойцов в белых тулупах. Сибирские дивизии подошли, дядя Миша. Ты погоди-ка...

Костя кинулся в свою комнату. Там, под кроватью, в старом фанерном чемодане он хранил свой неприкасаемый запас. Торопясь, чутко прислушиваясь, не хлопнет ли дверь, достал три банки тушенки и пачку американских галет. Дверь хлопнула, когда он уж выбегал в коридор. Пришлось не одетым тащиться на промерзшую лестницу. Он догнал Мишку на лестничном пролете между первым и вторым этажами. Сунул в руки подарки.

– Не хочу брать! – огрызнулся Мишка.

– Бери! – Костя насильно рассовал банки по карманам его потрепанного пальто, а галеты сунул за пазуху. – Живи, интеллигенция. Живи и верь, что Москву не сдадут.

Он бежал вверх по лестнице, перепрыгивая ступеньки. Внизу хлопнула дверь парадного. Дядя Миша ушел на Ка-

лужскую заставу рыть окопы...

Бабуля ждала его по ту сторону обшарпанной двери, в квартире.

– Прощай, старая! – Костя поцеловал Марию Матвеевну в щеку. На миг прижался лицом к ее лицу. Почувствовал знакомую мягкость, попробовал на вкус солоноватую влагу. Попросил тихо:

– Не плачь, я не могу...

И он, вытолкав ее за дверь, вернулся к себе в комнату собираться. Костя в полном одиночестве бродил по квартире, изредка подходя к кухонным окнам. В высоты третьего этажа он видел приземистую широкую фигуру бабушки. Она стояла, задрав голову кверху. А может быть, и ничего? Вон вчера Валя Токарева получила известие, что муж ее пропал без вести и ничего...

Опомнившись, Костя побросал в вещмешок кое-что из еды, две пары носков, бритву, сигареты. Привычным движением сунул в голенище нож. Семь пятнадцать утра. А надо еще успеть добраться до Донской.

Он вышел из подъезда. В дальнем углу Тимур, дворник, скреб лопатой мостовую, в полупустом мусорном баке копошились отощавшие коты. Снег не переставал сыпать на город. Бабуля решила не дожидаться его и хорошо, и правильно, пусть будет все как обычно. В прошлом году об эту пору они так же, как сегодня, порознь выходили из подъезда... А вечером, вернувшись домой, пусть она не сразу по-

чувствует утрату. Ведь и прежде бывало так, что Костя про-
падал по нескольку дней. Пусть она вообще ее не почувству-
ет, пусть...

* * *

– Наверное, врал народ, – задумчиво проговорил Костя, вертя винтовку и так и эдак.

– Что врал-то? – спросил огромный, чисто выбритый де-
тина. Нижняя часть его лица была белее сметаны, а верх-
няя – смуглая и обветренная.

– Врали, что на призывных пунктах в Москве ополченцам
оружия не выдают, – ответил Костя.

– Как это? Как воевать без оружия? – удивился детина.

– Во-первых, ты, Липатов – не ополченец, во-вторых –
приказываю прекратить антисоветские разговоры, – встрял
плюгавый, тощий субъект с нашивками батальонного полит-
рука.

Старшина вынес из каптерки сложенные в стопку вещи.
Константин вытаращился на лежавшую сверху, полосатую
фуфайку.

– Эт что? – выдохнул он.

– Надевай, малец! – усмехнулся старшина. – Теперь ты бо-
ец воздушно-десантных войск. Не вошь окопная, а человек!
Не пушечное мясо, а ударная сила! Конечно, пальтецо у тебя
неплохое. Так ты его отдай провожающим. Есть таковые?

– Нет, – коротко ответил Костя.

– Что так? – любопытный старшина скорчил участливую гримасу. – Ужо отбыли в места не столь отдаленные?

Смуглое лицо старшины было испещрено складками, глубокими и мелкими, едва заметными и четко прорисованными. Среднего роста, жилистый, ширококостный и подвижный, он сновал из каптерки с обмундированием в комнату с табличкой «Вытрезвитель». Здесь, на широкой лавке, расположились призывники, отобранные в команду Фролова. Всего человек двадцать. Костя бегло оглядел их. Знакомых – никого. Все взрослые мужики, все старше тридцати лет. Но и не старые. Наверное, самым великовозрастным в «Вытрезвителе» оказался старшина. Костя прикидывал и так, и эдак, сколько ж ему лет, пока не утомился от этого занятия. На первый взгляд он оказался тут самым молодым.

– Эй, Длинный!

Костя вздрогнул, обернулся на зов. В углу, на обшарпанном стульчике из клееной фанеры сидел вор в законе Гога Телячье Ухо. Гога занимался своим любимым занятием: спичкой с намотанным на нее крошечным кусочком марли ковырял во внутренности своих огромных, заросших рыжим волосом ушах.

– Ты как тут, дядя Георгий? – Костя придвинулся к нему.

– Как, как! Так же, как ты, добровольцем явился! – и Телячье Ухо принялся чистить спичкой огромные ноздри. Ко-

стя отвернулся.

В воровских кругах Телячье Ухо слыл человеком порядочным и покладистым. Имел на своем счету около полудюжины трупов, но без толку не убивал. Однако если в том случалась необходимость, убивал не задумываясь. Резал всегда ножом. Огнестрелом не баловался – шума не любил. Телячье Ухо в основном промышлял грабежом инкассаторских машин. Добытым хабаром делился честно – содержал семью мотавшего срок за полярным кругом младшего брата. С началом войны исчез. Об его делах судили по-всякому. В том числе и полагали убитым. А он вон где оказался! На призывном пункте.

– Ты зачем здесь, дядя Гога? – тихо спросил Костя.

– Как зачем? – вор Телячье Ухо поочередно продул каждую ноздрю, зажимая пальцем другую. Костя поморщился.

К ним подошел офицер. Молодцеватый, подтянутый, росточком Косте по плечо, но бравый. Костя усмехнулся, встал в растерянности. Что делать-то? Выпятить грудь колесом, рапортовать? Офицер спросил строго:

– Где учился до войны?

– Десятилетку закончил, – ответил Костя. – В институт хотел на лингвистику, но...

– Немецким владеешь?

– Говорю на немецком, французском и английском. Итальянский плоховато, но тоже могу... Польский и венгерский – еще хуже.

– Остановись, полиглот! – засмеялся лейтенант. – Зачисляю тебя в разведроту. Я теперь твой командир – зови меня Александр Александрович. А фамилия моя самая простая – Сидоров.

– Самая простая фамилия у нас Иванов, – нагло заявил Телячье Ухо. – А меня, Сан Саныч, ты тож определи вместе с лигистом, в разведроту. Я те в любую щель и влезу, и вылезу. Украду у врага, что прикажешь и, как верный пес, в зубах принесу. От меня пользы много может быть, ежели меня кормить, но от голодного меня проку никакого...

– Отставить разговоры! – рявкнул лейтенант. – Доложите по уставу: имя, фамилия, гражданская специальность.

– Имя? – Телячье Ухо почесал в ухе. – Георгий Алексеевич Кривошеев. Специальность?

– Урка он, – тихо проговорил тот самый, недавно утративший бороду, детина. – Я таких навидался. Они невдалеке от нашего села и посеичас, наверное, лес валят. Так-то оно!

– Фу ты, деревенщина! – обиделся Телячье Ухо. – Вчера бороду сбрил, а туда же рассуждать! Сам-то не старообрядец ли? Ну-ка, перекрестись, или не веруешь?

– По уставу! – рявкнул лейтенант.

– Рядовой Спиридонов, – отозвался сибиряк. – Владимир Епифанович. А тебя, хмырь костлявый, я поперек морды перекрещу.

– Отставить разговоры! – рыкнул лейтенант. – Николай Ильич! Всем выдать обмундирование и вручить каждому

по экземпляру войскового устава для изучения. Да не копайтесь же вы, старшина! Нам предстоит за пару дней сделать из этого сброда дееспособную войсковую часть!

Старшина не замедлил явиться со стопкой потрепанных брошюр.

– Это вам, братва, вместо картишек, – он сунул по брошюре в руки Телячьему Уху и Косте. – А для тебя, сибиряк, эта книжица теперь, как святое писание. Учи наизусть.

– Как величать тебя, отец? – спросил Спиридонов, болезненно кривясь.

– Лаптев моя фамилия. А имя – Николай Ильич. А ты не кривься, сибиряк, а привыкай. Может, тут у нас воздуха не так чисты, как в твоих чащобах. Зато народу больше. Нескучно будет с нами, сибиряк. Обещаю.

* * *

Костя снял пальто. Еще раз проверил карманы – не завалялось ли чего.

Он развернул измятый, завалывшийся листок – аннушкино письмоце. На обороте выгоревшего рецепта детской микстуры от кашля бисерным мальчишеским подчерком Аннушка написала:

Здравствуй любимый! Мы не всякий вечер ночуем в Голутвином, дома. А потому решила написать тебе перед

уходом на рытье аяков. Ты уж неделю как пропал, и я волнуюсь. Потому решилаь писать.

Там, на заставе, приходится работать и по 12, и по 14 часов. Когда как получится. От лопаты ломит руки и ноги. Зато не так ужасны бомбежки. Ночуем часто у крестной, Анны Ильиничны. Это та женщина, с Донского проезда. Помнишь, мы заходили в ней весной и она нас вином угощала?

Я очень переживаю нашу ссору. До сих пор не магу понять, почему ты так взъерипенился. Сергей мне совсем не интересен. Я люблю тебя лиш одного. Весь район об этом знает и только ты сомневаешься. Пока мы роем окопы для доблесных защитников отечества тебя могут презвать. И от этого меня охватывает ужасная тоска. Если уж мы больше не свидимся до самой победы знай – я люблю тебя. Я уж отдала тебе самое дорагое что ни есть у каждой девушки. И в сражении и в бою помни: никому больше я этого не дам!

Вечно преданая тебе Анна.

Досадуя на грамматические ошибки, Костя размышлял, что бы такое сделать с запиской. Порвать? Рука не поднималась. Оставить при себе? Но тут он с ужасом представил, как торжествующий победу враг снимает с его растерзанного, мертвого тела это послание первой и не столь уж невинной любви. Представил себе плакатного ээсовца, эдакого удальца в лихо надвинутой на брови каске, воняющего сапожной смазкой и шнапсом, тертого вояку, искушенного не только в воинской науке, но и в любовных утехах. Вот он

читает Аннушкино послание, вот заливается похабным хохотом. И Костя достал из кармана гимнастерки спички. Аннушкино письмо обожгло его пальцы, прежде чем невесомым пеплом улететь в холодное, пропахшее пороховой гарью небо...

Глава 2. Гаша

Они ушли из Киева пятого июля. Гаша впоследствии плохо помнила их путь от Поварской слободы до Горькой Воды. В памяти отложились странные и удручающие метаморфозы, произошедшие с ее матерью, Александрой Фоминичной, считавшейся в их семейном кругу записной модницей. Даже после того, как в 1940 году бесследно пропал отец, мама не рассталась с пристрастием к комфортной и благоустроенной жизни. Жизнь Александры Фоминичны заполняла суэта: преподавание энтомологии в университете, летние практикумы со студентами, театральные премьеры, парикмахерская, портниха, косметический кабинет. Гашина старшая сестра Евгения называла это буржуазными привычками, а сама Александра Фоминична – достойным дамы и полезным для общества времяпрепровождением. Александра Фоминична, несмотря ни на что, продолжала верить в человеческую порядочность, здравый смысл и трудолюбие.

– У меня три ангела хранителя, – говорила она Гаше. – Они распростерли надо мной благоуханные крыла!

Евгения рано вышла замуж и отдалилась от ветреной матери и вечно занятой, замкнутой сестры. С рождением Лены и особенно Оли они и вовсе стали редко видеться.

Гаша с первого раза провалила экзамены в медицинский институт и устроилась работать в больницу санитаркой.

В следующем, 1940 году решила поступать на вечернее отделение, и это ей удалось. Конечно, приходилось нелегко: днем пропахшая карболкой больничная лаборатория, вечером – лаборатория учебная, лекции, семинары. Гаша в семье считалась «гадким утенком» – высокая, угловатая, замкнутая.

– Она нашла себе достойное применение, – говорила о младшей дочери Александра Фоминична. – С такими внешними данными и складом ума ей не просто будет найти себе достойную пару. А так...

Это «так» поглощало Гашу целиком до тех пор, пока на Киев не упали первые бомбы.

Тем временем Александра Фоминична, казалось, и думать забыла и о дочерях, и о внучках. Как-то Гаша, между делами и занятиями, услышала краем уха, будто ее мать встречается с мужчиной, возраст которого ненамного превосходит года ее старшей сестры, Евгении. Они стали редко видеться и еще реже говорить друг с другом. Так продолжалось, пока в их город не пришла война. Александра Фоминична и ушла из Киева в платье из хорошего крепдешина неброской расцветки, в летней соломенной шляпке, в туфлях, сшитых на заказ хорошим киевским мастером. В дороге, на тяжелом, запруженном беженцами пути от киевских предместий к Запорожью, она сменила модельную обувь на кирзовые ботинки, а шелковое платье на простую, без притязаний на стиль одежду младшей дочери. Льняные юбка и блузка с гашиного плеча сидели на Александре Фо-

миничне, как на корове седло. Большая, ой большая выросла у нее дочка! Широкоплечая, костистая и... надежная. Но, с другой стороны, в таком гардеробе была и своя польза. Модные шмотки удалось в пути выменять на самое необходимое. Простая одежда, в прошлой ее жизни уместная лишь для работы на дачном огороде, позволила ей чувствовать себя комфортно в унылой, напуганной толпе, заполнившей в те дни дороги, ведущие на восток. Однако сама Александра Фоминична к унынию не имела таланта. Она не жаловалась, когда приходилось по нескольку километров тащить усталую Олю на руках. Она не выказывала страха, когда им приходилось искать убежища в покинутых, выгоревших селениях. Ее не пугали ужасы переправ, когда вздыбленная тяжелыми бомбами вода потоками обрушивалась на них. И внучки брали с нее пример, терпели, не поддавались усталости и страху.

– А голодать полезно, – говорила им бабушка. – Честно говоря, я поразилась, увидев тебя после долгой разлуки, Лена! На что это похоже? Щеки видно из-за спины! К чему готовила тебя твоя мать? Булочнику в жены? Совсем другое дело теперь.

И Лена сосредоточенно пережевывала подсохший мякиш сероватого хлеба, скупо смазанный волглым маслом. И Оля безропотно ела пахнущую тиной рыбную похлебку, щедро подаренную им чужим, грязным дедком – простым рыбаком.

– Мы отбросили все наносное, лишнее, – говорила Алек-

сандра Фоминична напуганным воем вражеских штурмовиков внучкам. – А вам, доченьки, в чем-то даже повезло. С малых лет узнаете цену жизни. Увидеть такое! Стать свидетелями исторических событий! Право слово, ради этого стоит жить! Мужчины и война! Два этих жизненных явления неразрывны! Скоро, скоро вы постигните суть этих слов, девочки мои!

Обгоняя их, скорым маршем пылили по дорогам Украины отступающие части Красной армии. И Гаша чаще стала видеть тревогу в материнских глазах.

– Жалко людей, все погибнут... – тихо приговаривала Александра Фоминична, прижимая к себе перепуганных девочек.

Но слова ее слышала одна лишь дочь. Грохот разрывов, плач, стоны раненых, рев перетруженных моторов висели над украинской степью тем страшным летом.

* * *

Александра Фоминична перестала храбриться девятнадцатого августа. Утро того дня они встретили неподалеку от Запорожья, куда так стремилась обе, и Гаша, и ее мать. С чего им в голову втемяшилась странная блажь, будто вражеские армии не дойдут до этих мест? Как назывался тот городишко? Александровка? Михайловка? Борисовка?

С вечера они никак не могли устроиться на ночлег. Ха-

ты, риги, сараи, загоны для скота – все помещения, каждый квадратный метр жилого и нежилого пространства, прикрытый крышей, был занят людьми: раненые бойцы, беженцы, штабы отступающих или пытающихся обороняться войсковых подразделений, сутолока, вонь человеческих и лошадиных испражнений...

– Чистилище, – бормотала Гаша. – Это чистилище, мама!

Оля и Лена смертельно устали и постоянно усаживались в дорожную пыль. Подгонять их не было смысла – девочки выбились из сил, и Гаша взяла младшую на руки. Но как быть со старшей? Да и Александра Фоминична утомилась и примокла.

В конце концов они притулились на краю дороги, у орудийного лафета. Расчет пушки-сорокопятки приютил их. Девочек уложили на телеге, между ящиков с боеприпасами. Женщины устроились у огня. Гаша устала, и сон не шел к ней. До наступления рассвета слушала она рассказы усатого лейтенанта о том, как их полку чудом удалось вырваться из киевского котла. О ковровых бомбардировках, о напитанной кровью земле, о захороненных мертвецах, оставленных ими на произвол захватчиков. И о живых, чья участь была еще хуже.

– Там, под Киевом, остались моя сестра и ее муж... – тихо проговорила Гаша. – Наверное, и они уже мертвы... Я надеюсь...

Гаша смотрела на огонь. Сонное дыхание чужих людей,

смертельно уставших мужчин, знакомое покашливание матери, песни цикад, возня скотины в недалеком хлеву, северный говорок незнакомого лейтенанта. Наконец, Гаша перестала слушать его, все звуки затихли, она уснула.

Земля задрожала, чахлый костерок вспыхнул последний раз, чтобы окончательно погаснуть. Гул наполнил небо, излился на изнуренную землю, проник в нее, и земля застонала. Артиллеристы, спавшие вокруг костра, даже не пошевелились.

– Что это? – Александра Фоминична открыла глаза.

– Плотины взорвали, – ответил лейтенант. – Днепрогэсу хана... Шли бы вы, бабы, далее. Тем более что и дети при вас. Слышите гул?

– Слышишь, дочка?.. – всполошилась Александра Фоминична.

– Я давно твержу тебе: это не шутки, мама, – устало ответила Гаша. – Буди девочек. Нам надо найти пристанище и хоть пару деньков передохнуть. Иначе...

– Бегите, – настаивал лейтенант. – Запорожье отдадут, даже если мы тут ляжем все до одного. Если б не так, плотину бы не взорвали.

– Нам нужен перерыв, – настаивала Гаша. – Иначе мы поляжем вместе с вами.

Хатка стояла на отшибе, под уклоном пологого холма, среди торчащих, подобно кладбищенским обелискам, закопченных труб. Свежевыбеленная, недавно накрытая толстым слоем соломы, она радовала глаз синей росписью вокруг окон. Цветочный орнамент вился вычурными вензелями. На изогнутых ветвях щебетали хохлатые птицы, над причудливыми, ажурными соцветиями вились синие пчелы. Синие подсолнухи, синие маки на неровной, свежевыбеленной поверхности стены. Дверь, наличники и оконные переплеты также были выкрашены в радостный голубой цвет. Гаша насчитала три окна. Вокруг третьего роспись не закончена, неизвестный художник успел расписать стену лишь справа от окна. Над недокрашенными столбиками крыльца нависали ветви старой яблони. Ее широкая, густая крона осеняла половину двора. Ветви, усеянные зарумянившимися яблочками, лежали на соломенной крыше. Хутор выгорел дотла, окрестные поля и огороды были перепаханы авиационными бомбами. А хатка стояла как ни в чем не бывало, целехонькая, ухоженная, пустая.

– Останемся здесь, Глафира! – прошептала Олька. – Смотри, бабушка сейчас упадет.

– Не упадет... – рассеянно огрызнулась Гаша.

Малышка сидела на гашиных плечах. Она осунулась в до-

роге, смуглое ее личико стало прозрачным, ручки истончились, но для Гаши сейчас и такая ноша казалась слишком тяжелой.

Гаша уже взялась рукой за калитку, уже потянула ее на себя, когда из-за хаты, с той стороны, где за хлевом начинался перепаханный разрывами мин огород, явился пацаненок. Его большую голову покрывал сальный картуз с обломанным козырьком. Паренек нес в руках грабельки на толстом черенке. Только теперь Гаша заметила, что земля под яблоней вспахана, изрыта так, словно в ней ковырялись полчища кротов. Паренек принялся ровнять земельку граблями и утаптывать босыми ногами. Гаша рассеянно смотрела на его тонкие лодыжки, торчащие из-под сильно заношенных и нечистых порток.

– Это девушка, – едва слышно проговорила Александра Фоминична.

– Эй, милая! – позвала Гаша. – Дай хоть воды для девочек!

Паренек поднял голову. Из-под обломанного козырька картуза выскочила длинная, светлая прядь.

– Ты – девочка! – проговорила Леночка. – Как тебя зовут? Галочка? Марусенька? Меня зовут Леночкой, а это моя сестра, моя бабушка и моя тетя.

– Яринка, – был ответ. – Так мене папка и мамка звали.

У Гаши в голове мутилось от усталости. Полуголодная, легкая, будто перышко Олька затихла, престала ерзать, жаловаться на жажду.

Александра Фоминична трудно дышала, опираясь на плечень.

– Мы можем помочь. Все сделаем, о чем ни попросишь, – заверила Яринку Гаша. – Вот только бы передохнуть немного. Ты не возражаешь? Мы бы спросили разрешения и у твоих родителей, если б могли их повидать...

– Все повмыралы. И матир, и сестра, и брат. Я поховала их тут⁸, – Яринка указала рукой на землю у себя под ногами.

– Как закопала? – Гаша заметила, как ее мать покачнулась. – Сама?

– А хто ж. – глаза девушки округлились. – Не залишати ж их так...⁹

– И у тебя больше никого нет? – осторожно спросила Гаша.

– Е, як же не бути? – отозвалась девушка. – Еще брат Григорий. Але вин пишов до Києва, коли на нас впали перши бомби. Вин там и воюе. Був батько, тильки не знаю, де вин зараз...¹⁰

– Наверное, надо еще камушки сверху положить, чтобы курочки не расклевали или собачка... – вставила свое слово Леночка. – Мы поможем тебе, а ты пусти нас...

⁸ Все умерли. И мать, и сестра, и брат. Я закопала их тут (укр.).

⁹ А кто же? Не оставлять же их так? (укр.)

¹⁰ Есть, как же не быть? Есть еще брат Григорий. Но он пошел в Киев, когда на нас упали первые бомбы. Он там и воюет. Был отец, только не знаю, где он сейчас... (укр.)

– Смиливи яки! Видно, нимци не сильно ще понапугалы. Ступайте на двир, та стережитесь мин...¹¹

В хате было чисто прибрано, пахло свежим молоком и кровью. Гаша заметила на чисто выскобленном полу кровавое пятно. Рядом стоял таз, полный кровавых бинтов.

– Брату ногу миною выдирвало. Я його ликувала, але даремно. Все одно помер...¹² – пояснила Яринка.

* * *

Гаша не помнила, как провалилась в сон. В ушах набатом гремели разрывы тяжелых бомб. Она падала в днепровскую воду, коричневая муть застилала ей глаза, а в уши лез неумолчный грохот разрывов. И толчея, и давка на мостах, и сосущий голод, и неотвязная тревога, и постоянные поиски питьевой воды и пищи. А ей так хотелось еще хоть раз увидеть мать в длинном платье из тяжелого шелка, в шляпке с вуалеткой на изящно уложенных волосах, веселую и беспечную. Услышать «Дунайские волны» в исполнении Киевского симфонического оркестра, но вместо этого она слышала вопли тонущих людей под оглушительный аккомпанемент разрывов.

¹¹ Какие смелые! Видно, немцы не сильно еще напугали. Ступайте на двор, да берегитесь мин... (укр.)

¹² Брату ногу миной оторвало. Я его лечила, но напрасно. Все равно помер... (укр.)

На рассвете ее разбудили голоса. Гаша открыла глаза и увидела спину Александры Фоминичны, прикрытую потемневшей от пыли нижней сорочкой, ее темную косу без следов седины.

– Идешь до Гиркой воды. Там можна сховатися, – говорила Яринка. – Там моя ридня: бабка и дидка, та ище титка Клава.

– Там твой дедушка, Яринка? – уточнила Леночка.

– Надежда – моя бабка, та Уля – моя пробабка, та дидку, та Клава...

– Полон двор народу! На что мы им? – вздохнула Александра Фоминична.

– Они добры люди, примут, – заверила Яринка. – Вид мене привет донесете...

– Может быть, и ты с нами? – осторожно спросила Гаша, поднимаясь.

– Не-е... – Яринка опустила глаза. – Мене за хатой доглядать. А мож кто и вернется, та хоть мене застанут...

Гаша спросонья уставилась на Яринку. Хозяйка хаты оказалась чудо как хороша. Яринка сменила замызганную мужскую рубаху и порты на длинную, до пят, расшитую по вороту сорочку, ладно облегающую ее стройное тело. Светлые, вьющиеся кольцами волосы обрамляли свежее личико. Черты лица тонкие, острые, глаза ореховые, добрые, разумные, с искоркой задора. Как же смогла она пережить столькие беды, не утратив этой искорки? Гаша вздохнула и почувствовала, как легкая рука матери легла на ее руку.

– Тебе нельзя тут оставаться одной. Слишком уж ты красива, – проговорила Александра Фоминична, словно услышав мысли дочери.

– Ви теж гарна, пани. Але ви ж не бойтеся¹³, – возразила Яринка и, немного поколебавшись, добавила: – У мене зброя... бомба. Ідьте, а я буду з нимцями воювати!¹⁴

– Милая!.. – Александра Фоминична всплеснула руками.

Внезапно Гаша почувствовала странную тревогу. Страх мертвой хваткой вцепился в горло, мешая дышать.

– Что это? – прохрипела Гаша.

– Це снаряд летить. Не бійся. Він мимо...¹⁵ – заверила ее Яринка.

Взрыв грянул внезапно. Стены хаты дрогнули, с потолка им на головы посыпалась соломенная труха. Олька и Леночка полезли под кровать. Гаша вскочила:

– Мама, мама! – она металась по горнице, собирая их жалкие пожитки. – Собирайся, мама! Сколько нам пути до Горькой Воды, Яриночка? Сколько?

– До зализяки треба добигти... тут недалеко... там паровоз... так врятуєтеся...¹⁶ – Яринка быстро напялила портки, сунула ноги в огромные разношенные сапоги, прикрыла го-

¹³ Вы тоже красивая дама. Но вы же не боитесь (укр.).

¹⁴ У меня оружие... бомба. Идите, а я буду с немцами воевать! (укр.)

¹⁵ Это снаряд летит. Не бойся. Он мимо... (укр.)

¹⁶ До железки надо добежать... тут недалеко... там паровоз... так спасетесь! (укр.)

лову засаленным картузом.

– Леночка, сбегай-ка к дороге... – Гаша не успела договорить, как племяшки уж и след простыл.

* * *

Леночка вернулась скоро. И платьице ее, и тугие косы покрывала дорожная пыль, но на запыленном лице сияла счастливая улыбка.

– Зачем ты сняла платок? – возмутилась Александра Фоминична. – Ну скажи на милость, как мы теперь промоем твои волосы? Где нам взять мыло?

В ответ Леночка протянула ей свой бывший с утра таким белым платочек из хлопковой ткани. Он оказался завязан узлом и полон теплой еще вареной картошкой.

– Солдаты дали, – счастливо проговорила Леночка. – Не наши солдаты, а немецкие. Они добрые, не страшные совсем. Песни поют, веселые...

– Они видели, куда ты пошла? – спросила Гаша, хватая Леночку за плечи.

– Конечно, видели, Глафира! А ты что, драться задумала?

– Какие еще солдаты? – всплеснула руками Александра Фоминична.

– Немцы, бабушка! – повторила Леночка. – Авагандр в железных касках...

– Авангард... – задумчиво поправила ее Гаша. – А кто же

тогда стреляет на той стороне Днепра?

– Смертники, – в один голос проговорили Яринка и Лена.

– Нет, у меня это не укладывается в голове! – проговорила Александра Фоминична.

– Вот и убежали... – вздохнула Гаша.

– Вам треба йти. Треба поспишати! Ольга, збирайся! – голос Яринки сделался твердым.

– Так мы погубим детей...

– Оставь, мама! Мы должны сделать все возможное, чтобы не остаться под немцем! Яринка, ты с нами? Решайся!

– Я залишаюся... Идите до Гиркой Води. Та не затримуйтесь!¹⁷

Они подхватились. Гаша рывком посадила Ольку себе на плечи. Яринка зачем-то натянула драный, пропахший хлевом жупан. Хозяюшка быстренько порылась в запе-чье, достала нечто, завернутое в грязную холстинку, сунула под полу жупана. Гаша присматривала за ней краем глаза, но не слишком-то внимательно. Где-то наверху, по вершине пологого холма, там, где по-над селением пробегало шоссе, уже рычали двигатели танков.

* * *

– Кто такие? – машинист свесился из окна тепловоза.

¹⁷ Я остаюся... Идите к Горькой Воде. Да не задерживайтесь! (укр.)

Его лицо казалось клетчато-полосатым, чумазым и смешным от копоти и пыли. Седые брови да пышные, сивые усы его непрестанно шевелились, усиливая комический эффект. Леночка засмеялась.

– Беженцы... тикают до дому! Возьми их, Миколайчик, – проговорила Яринка.

– Ишь какие смешливые беженцы! А что, если Ганс уж перекрыл дорогу, а? И мне яйца оттяпают, и красотулек твоих порешат. Сидите уж. Авось и немцы – люди!

– Ах, какие интимности! – фыркнула Александра Фоминична. – Оттяпают – не велика потеря. Главное – голову не потерять!

– Ах, Миколайчик, завжди «авось» да «небось»!¹⁸ – глаза Яринки сверкнули из-под обломанного козырька.

– Как тебя звать, краля? – машинист подмигнул Александре Фоминичне, усмехнулся. Белые зубы на его чумазом лице фарфорово блеснули.

Невдалеке за их спинами что-то глухо зарокотало.

– Баба Саша ее зовут! – что есть мочи крикнула Олька. – Деда! Возьми нас к себе! Там, за станцией танки!

Олька, сидя на гашиных плечах, оказалась выше всех на голову. Что уж видела она там, за железобетонным забором, отделявшим платформы станции от улиц развороченного взрывами городишки? Наверное, и вправду там были танки, потому что проследив за взглядом девчонки, Мико-

¹⁸ Ах, Миколайчик, всегда «авось» да «небось»! (укр.)

лайчик забеспокоился.

– Давай! Лезь! – скомандовал он, открывая дверцу кабины машиниста.

Гаша сорвала Ольку с загровка и вбросила в кабину, следом затолкали Леночку и ее бабушку. Потом Гаша передала Александре Фоминичне их нехитрые пожитки и, наконец, полезла в кабину сама.

За недели пути Гаша привыкла различать эти звуки среди прочих: утробный рокот и лязг. Но вот к виду танков никак не могла привыкнуть. Не укладывалось у нее в голове, что это изрыгающее смерть чудовище могло быть творением человеческих рук и управляться человеком. Танк въехал на железнодорожную насыпь и остановился на путях, преграждая путь на запад.

Яринка заволновалась. Она достала из-под полы жупана сверток, извлекла из грязного кулька бутылку зеленоватого стекла. Миколайчик дернул за рычаг, и паровоз принял с места, да так резко, что Гаша чуть не вывалилась наружу.

– Держитесь, бабы! – голос Миколайчика походил на скрежет паровозных механизмов.

Тепловоз набирал скорость, а Гаша, высунувшись наружу, смотрела назад. В белых облаках пара она узрела Яринку. Хрупкая фигурка в просторном жупане двигалась в сторону танка. Девчонка почти не таясь подбиралась все ближе к стальной громадине. Бутылку зеленого стекла она сжимала обеими руками. Паровоз оглушительно громыхал на стыках,

выпуская из-под себя снопы белого пара. А танк отвернул орудийное дуло в противоположную сторону, словно не желая видеть их постыдного бегства. Расстояние между тепловозом и танком росло, и Гаша потеряла Яринку из вида...

Гаша осела на теплый пол, прижалась боком к ногам машиниста.

– Ишь! – захохотал Миколайчик. – А ты, несмотря что молодая, будешь попроще, чем твоя мамка.

Гаша посторонилась.

– Да, ладно! Притуляйся, девка! Ты теперь еще долго будешь за все в ответе... Так что притуляйся, раз такой случай!

– Помолись со мной, Леночка, – попросила Гаша племянницу.

– О чем?

– О Яриночке... Чтобы смерть ей легкой была...

Гаша слышала звук взрыва, видела испуганные глаза матери, подобно ей самой смотревшей назад из окошка кабины. Миколайчик тоже обернулся назад, посмотрел, перекрестился, проговорил печально:

– Эх, с одной бутылки-зажигалки столько шума! И как это девка ухитрилась? Наверное, в самый бензобак подарочек метнула...

– У нее было три бутылки, – шмыгнув носом, поправила Миколайчика Леночка. – Я сама считала: три!

И она для верности показала машинисту три чумазых, с обломанными ногтями пальца.

Гаша едва не потеряла их на станции Кутейниково.

Еще на полдороги к этой несчастной станции к паровозу Миколайчика прицепили длинный эшелон, полный беженцами и ранеными красноармейцами. Скорбный путь в неизвестность: утраты, страх, боль, гноище. Потерявшие близких и кров, утратившие надежду люди, много людей, тысячи пока еще живых. А в небе над железной дорогой вражеские штурмовики, а по обочинам дороги иной мир. Ни воинских частей, ни боев, ни бомбежек. Хмурые поселяне смотрели на эшелон с опасливым недоумением. Чужие, ставшие в одночасье инородцами, оборванные, голодные, подорванные ужасом войны люди на своих плечах принесли войну в их мирные дома. Да минет нас чаша сия!

– Я чувствую себя узницей передвижного зверинца, – говорила дочери Александра Фоминична.

Они добывали еду, выменивая ее на носильные вещи и украшения Александры Фоминичны. С каждым днем их без того скудный багаж становился все легче. В эшелоне участились случаи воровства, и Александра Фоминична увязала свои драгоценности в носовой платок. Узелок хранила на груди. Они недоедали, часто терпели жажду и нужду. А тут еще и Оля расхворалась.

На станции Кутейниково Гаша выбежала за водой.

На предыдущих станциях эшелон стоял подолгу, и они маялись от страха, поглядывая из окон на небеса, прислушиваясь к звукам. Боялись бомбежки. По эшелону ходили слухи о налетах. Говорили, будто люфтваффе без зазрения бомбит составы с красными крестами на крышах.

Перед колонкой собралась очередь. Воду набирали с запасом. Гаша присела в сторонке и даже задремала. Ее разбудил стук буферов. На платформу с востока, со стороны Ростова, втянулся воинский эшелон. Гаша смотрела на переполненные теплушки, на мужчин в ватниках и ушанках. Зимнее обмундирование. Строгие, озабоченные лица. Окрики командиров. Прибывший состав загородил собой эшелон беженцев, и Гаша не заметила, как тот тронулся.

Дальнейшее стерлось у нее из памяти. Она помнила только ужас и руки незнакомого, пожилого солдата. Поначалу он стирал слезы с ее щек, приговаривая:

– Ну зачем же так убиваться-то! Погоди, сердечко-то лопнет. Смотри-ка, милая, воду-то разлила! Нешто слезами решила ведро наполнить?

Потом он ходил за ней с ведром полным воды, пытаясь зачем-то взять за руку, поправляя на плече ремень винтовки.

Гаша нашла их в здании вокзала, возле заколоченного листом фанеры окошка кассы. Мать сидела на полу, подложив под себя их скудные пожитки. Оля спала у нее на коленях. Леночка вся в слезах, стояла рядом, тревожно всматриваясь в лица проходящих мимо людей.

– Я знала, что ты придешь сюда, – проговорила Александра Фоминична, открывая глаза.

Гаша окончательно растерялась.

– Зачем вы сошли с поезда?

– А как же иначе? – мать устало провела рукой по глазам. – Мне не справиться с ними без тебя. Если даже и суждено... так лучше вместе. Я не могу потерять и тебя.

Гаша в изумлении смотрела в покрасневшие, подернутые усталостью глаза матери, и сердце ее сжималось от жалости и любви. Ах, мама! Где твои шелковые платья, где твои юные поклонники, шляпки, духи и вуалетки? Ах, бедная, бедная мама!

Они побрели по замерзшей грязи к окраине Кутейникова. Угрюмая женщина указала им на проселок, ведущий к Горькой Воде. Сказала коротко:

– Да тут недалеко, может, и добредете, а может, и подвезет кто...

Проселок выбегал из селения в степь. На Ольку намотали все имевшееся в наличии тряпье и снова посадили Гаше на шею.

– Не знаю, мама, правильно ли мы поступаем, – проговорила Гаша. – В степи холодно. Может быть, стоило бы дожидаться следующего состава?

– Если решила делать – не сомневайся, если сомневаешься – не делай...

– Я не сомневаюсь, мама...

Гаше запомнился хутор: стайка желтеньких огоньков посреди холодной степи. Они долго стучали в запертые ворота. Наконец им открыли. Женщина с обвисшим лицом с чадящей керосиновой лампой в руках посмотрела на них равнодушно.

– Не пуцу. И не просите. Знаю ваши слова наперед: дети больны, еды нет, кровя нет.

– Мы устали... – Леночка едва не плакала. Гаша и Александра Фоминична молчали.

– Учите детей клянчить, – обвисшее лицо женщины исказила злая гримаса. – А сами на плечах немца тащите. Коли не смогли отбиться, не смогли родину защитить, должны были все поумирать. Ступайте прочь. Авось господь вас с миром приберет.

И она захлопнула ворота.

– Ну и что! – шмыгнула носом Леночка. – А я и не устала. И есть не хочу! И еще погуляю. А ты, Олька?

Но сестра не ответила ей. У Оли зуб на зуб не попадал, ее бил озноб. Гаша бросила под забор узелок с бельишком, взяла девочку на руки, прикрыла полрой пальто. Ах, как исхудала Оля в пути!словно ссохлась, словно и ростом уменьшилась.

– Ничего, – проговорила Гаша. – Я в Кутейниково спра-

шивала дорогу. Тут осталось километров тридцать, не больше. Как-нибудь дойдем. Горькая Вода не хутор. Горькая Вода – село. Там кто-нибудь да пустит.

Пустая, степная дорога вела их от хутора к хутору. В одном из домов их пустили на ночлег и даже покормили, взяв в уплату за доброту серьги Александры Фоминичны. В другом доме они улеглись ночевать прямо на полу. Гаши плохо спалось. Она смотрела на оклеенный газетными листами потолок. Читала старые заголовки о трудовых победах, об успехах РККА в боевой и политической подготовке. А под газетными листами, издавая непрерывный шелест, бродили клопы. Утром и Леночка, и Олька оказались изрядно покусаны.

Следующую ночь, отчаявшись найти пристанище под крышей, они с немалым комфортом провели в копне сена. Гаши развела жиденький костерок, кое-как вскипятила пару стаканов воды, напоила Ольку теплым, и та уснула мертвым сном. Они жались друг к дружке, вдыхали пряный, сдобренный морозной свежестью аромат, и Гаши почти не чувствовала холода. Она слушала, как где-то совсем неподалеку в соломе возится, попискивая, мышьяная семья, припоминала строчки из «Евгения Онегина», проговаривала шепотом любимые места, прижимая к груди и животу пылающее тело Ольки. А мир вокруг был так тих, словно и война умерла, словно они все, вместе с этой вот, приютившей их копной, и с полем, и с небом, усеянным звездами, теперь лежат в одной, огромной, братской могиле. В предрассветных

сумерках голос матери показался Гаше тихим, робким, будто писк мышьиной самки.

– Еще одна такая ночь, и мы потеряем Ольку, – проговорила Александра Фоминична...

* * *

Небольшое расстояние от Кутейникова до Горькой Воды с больной Олей на руках преодолели в три дня.

Вечером третьего дня, с вершины пологого холма они увидели колокольню храма. Беленькие дома, огороженные, по местному обычаю плетнями, гнездились вокруг него, будто грибы вокруг осины. Кривые улочки сбегали к подножию холма, где в зарослях ивняка пряталось русло неширокой, сонной речки.

Леночка, словно обретя второе дыхание, бросилась вперед. Александра Фоминична и Гаша с Олей на руках поспешили следом. Возле околицы, там, где промерзший проселок вбегал в село, Гаша заметила паренька-калеку. Он нес на левом плече снопушку соломы, правой опираясь на высокий костыль.

– Это Горькая Вода? – спросила Леночка у парня.

– Горькая, – отозвался тот. – Горше не бывает.

– Мы ищем Серафима Петрована, – сказала Гаша. – С нами больной ребенок...

– В Горькой Водке все дети больные, – отозвался парень. –

Вишь, молодуха, и я калека с малолетства.

– Значит, Петровна ты не знаешь? – спросила Гаша, теряя надежду.

– А вы ступайте ко храму, – паренек глумливо улыбнулся. – В позапрошние времена там бродягам подавали...

* * *

Они подошли к храму. Гаша остановилась. Подняла голову к небесам, ловя губами редкие снежинки, дважды проговорила «Отче наш» и снова пустилась в путь по лабиринту грязных, пустых улочек. Александра Фоминична рука об руку с Леночкой тащились следом за ней. Скоро они окончательно выбилась из сил.

– Сядем здесь, передохнем, – проговорила Александра Фоминична, указывая на оставленный кем-то под плетнем сноп соломы. – Может быть, твой добрый боженька и поможет нам...

Гаша баюкала Ольку, прикладывалась губами к ее огненному лбу. Звала ласково по имени, но девочка уже не слышала ее. Сухой, горячечный жар сжигал ее тельце, время от времени она принималась плакать, и тогда Гаша прикладывала ладонь к ее губам. Она слышала голос матери, тихо беседовавшей с кем-то. Наверное, Александра Фоминична пыталась успокоить встревоженную Леночку. Но что проку в утешениях, если над ними ночь, под ними схваченная морозом

земля, а вокруг ни огонька в окошке, ни милосердия, ни надежды?

Внезапно яркий свет ослепил ее. Остро запахло керосином. Яркий фитилек лампы выхватывал из ночного мрака синие и алые пятна. Васильки, маки, длинная шелковая бахрома. Женщина в цветастой шали поверх синего, стеганого ватника стояла перед ней. Керосиновая лампа бросала светлые блики на ее одежду и лицо, показавшееся Гаше удивительно красивым и странно знакомым. Женщина заговорила, и звуки ее речи напомнили Гаше церковные песнопения. Гаша попыталась припомнить слова псалма, но они, вот досада, не шли на ум. Незнакомка склонилась к ней, протянула руку, пытаясь отвернуть полу пальто.

– Что там у тебя, милая? – расслышала наконец Гаша.

– Кто вы? – всполошилась она, и женщина что-то ответила ей. Но Гаша не смогла разобрать ни слова. Тельце Оленьки, ломкое и обжигающее, сотрясал озноб.

– Моя девочка больна, моя девочка больна! – твердила Гаша. – Нам бы немного хлеба и теплого молока.

– Все есть, – отвечала ей женщина. – И хлеб, и молоко пока есть.

– Кто вы? – снова спросила Гаша.

– Да ты сама-то не больна ли, девушка?

Гаша вздрогнула, ощутив у себя на лбу ее сухую, шершавую ладонь.

– Я – Надежда Пименовна, но ты называй меня просто

Надеждой.

Следом за Надеждой Пименовной из темноты возник высокий хромой старик в длинном овчинном тулупе и высокой, казачьей папахе. Он, ни слова не говоря, вынул Оленьку из гашиных рук и будто котенка сунул под полу тулупа. Скомандовал:

– Пойдем...

И Гаша повиновалась.

– Тут со мной еще одна девочка, моя племянница, и моя мама...

– Так собирай свое стадо, пастушка, – отозвался старик.

Они долго и, казалось, бесцельно бродили по темным переулкам, сопровождаемые лаем дворовых псов. Странные, едва различимые тени шныряли в подворотнях.

Воротина скрипнула, и они ступили в широкий двор, со всех сторон обнесенный высоким плетнем. Где-то в темноте похрюкивал поросенок, и сонно переговаривались куры.

В сенях их встретила большая, под стать самой Гаше, женщина, как две капли воды похожая на старика.

– Это Клавдия Серафимовна, – серьезно сказал старик. – Она добра, как ее мать, и красива, как я.

Они вошли в большую чистую горницу. Справа большая белая печь, слева, за занавеской, – вход в спальню, напротив входа, в углу – Богоматерь в богатом окладе, в центре горницы, под окнами стол и скамья, в левом дальнем углу боль-

шая кровать, при входе – сундук, покрытый вышитой кошмой. Богато.

Хозяйка легким, молодым движением скинула платок и ватник, схватила девочек, раздела, осмотрела внимательно обеих.

– Не беспокойтесь, – устало проговорила Александра Фоминична, присаживаясь на скамью. – Завшиветь не успели. Убереглись. Красные пятна – это клоповьи укусы. У маленькой жар, но это не тиф...

Последние слова замерли на ее устах, она повалилась на бок, на скамью, закуталась поплотнее в пальто и уснула.

– Ну и пусть, не трогайте ее, – проговорила Надежда Пименовна.

А Клавдия уже тащила из сеней ведра с горячей водой.

* * *

В горнице в запечье жила старуха с волосами блее печной золы, с ясными фиалковыми очами и молчаливым нравом. Дед Серафим называл старуху сестрой Иулианией, жена деда называла ее Юлкой, а их дочь и вовсе никак старуху не называла, хотя и относилась к ней, как к собственному дитяти. Старуха плохо ходила, плохо видела, мало разговаривала и подолгу молилась. В хорошую погоду Клавдия выносила старуху на двор, где та, беззвучно шевеля губами, безошибочно оборачивалась в сторону церковных куполов.

Олька и Леночка спали с бабкой в запечном тепле, заплетали ее серые волосы в косы, растирали розовыми ручонками ее покрытые коричневыми старческими пятнами ладони. Бабка что-то нашептывала в Олькино ушко, и у той на лбу выступала испарина, и жар спадал, и губки розовели. Так текла их запечная жизнь несколько спокойных дней и ночей.

За время, проведенное в тепле, под крышей пропахшего ржаной опарой дома, Гаща отошла. Неотвязная тревога за жизнь Ольки отпустила ее, и она разговорилась: рассказала хозяевам о бомбежка Киева, о бегстве, о Запорожье, о Яринке и Миколайчике, о том, как отстала от эшелона, об их блужданиях по степи.

Александра Фоминична тоже потихоньку воскресала. Она нашла в себе силы для простого труда: и дрова пыталась колоть, и таскала, напевая арию Розины, воду из колодца, и топила баню, и полоскала длинные свои волосы в пижмовом отваре. Хозяин, Серафим Феофанович, и в глаза, и за глаза величал ее или барынькой, или Шурочкой, но смотрел с шутливым неодобрением.

– Вот только имена я забыла, – вздыхала Гаща. – Помню лишь название вашего села – Горькая Вода. А имен не помню...

– Каких имен? – спрашивала хозяйка.

– Имен родичей доброй Яринки, той девушки, что спасла нас...

Гаща заметила, как нахмурились, как переглянулись хо-

зьяйка и ее дочь.

– Пусть остаются, – тихо проговорила Иулиания за печью.

– Пусть, – подтвердила Клавдия, а Надежда ничего не сказала, только склонила седеющую голову.

* * *

Покой закончился ранним утром. Гаша проснулась вместе с курами до света и так лежала без сна, вперив взгляд в темный потолок. За печкой похрапывала Иулиания, Олька перестала хрипеть и лишь изредка покашливала, Леночки и вовсе не было слышно. Гаша знала, что в эту пору хозяйка и ее дочь уже на ногах, хлопчут на скотном дворе. Неугомонная Александра Фоминична наверняка вместе с ними. Гаша решила про себя: вот сосчитаю до пятиста и тоже поднимусь. Но на второй сотне стала отвлекаться, сон подкрался к ней и положил тяжелую ладонь на веки. Сон был обут в тяжелые, подкованные железом сапоги, у него оказалось не менее шести ног и он, подобно ее матери, не мог долго оставаться на месте. Так и стучал, так и притоптывал всеми своими ногами, возился, чем-то поскрипывал, терся боком о беленую стену дома.

– Wir müssen zusammenarbeiten, Mann. Haben zu helfen...¹⁹ – молвил сон тихим голосом.

¹⁹ Надо сотрудничать, старик. Придется помогать... (нем.)

– Was können, сироты, wir für Sie tun? Wir Bauern, Pahari...²⁰ – был ответ.

Услышав слово «сироты», Гаша проснулась, но сон не уходил. На улице, под окном хаты продолжалась едва слышная бормотня и возня. Гаша замерла, вся обратившись в слух.

Говорили двое человек, одним из которых был их хозяин, Серафим Феофанович. Вторым собеседником оказался человек Гаше неизвестный. Да и кого она могла знать в Горькой Воде? Прожив в селе не более недели, она толком и со двора-то не выходила. Гаша взмокла от напряжения, силась вникнуть в смысл фраз, произносимых на чужом языке. Ах как важно было в этот момент понять каждую фразу, вникнуть в смысл, верно угадать подтекст! И Гаше это удалось. Она припомнила и слова, и грамматику немецкого языка, изучение которого забросила пару лет назад за ненадобностью. Совсем скоро Гаша испытала странное удовлетворение, осознав, что говорит на этом языке намного лучше и деда Серафима, и его собеседника. Для обоих собеседников немецкий язык был чужим.

– Не притворяйся бедным, старик! Нам надо прожить бок о бок, пока война не кончится. Мы тоже здесь не по своей воле. Мы не хотим убивать крестьян. Мы воюем только с солдатами. Нам дело надо делать.

– Дело? – Гаше почудилось, будто Серафим усмехается. Вот смелый старик!

²⁰ Чем же мы, сироты, вам поможем? Мы крестьяне, пахари... (нем.)

– Да. Дело. В селе будет развернут большой госпиталь. Нужны санитары, прислуга...

– Возьмите меня в сторожа...

– Старый шутник! – сказал третий голос, до сей поры молчавший. Но Гаша знала твердо – гостей трое, и все они в тяжелой армейской обуви. Она чуюла запах табачного дыма, чужой запах. Хозяин курил другой табак – отвратительно воняющий самосад. А гость курил табак хороший, прянопахучий, заграничный. Запах дыма напомнил Гаше аромат отцовских папирос.

– Охрану будет нести рота СС, – проговорил первый гость.

– Серьезное дело, – отозвался хозяин.

– То-то! Подумай, старик. Режима коммунистов больше нет. Вернутся старые порядки. Есть шанс хорошо прожить и при гансах...

– Есть... – согласился хозяин. – Санитарки, уборщицы, прачки, поварихи...

– ...Истопники, конюхи, – продолжил второй гость. – Подумай, старик. Хороший паек гарантирован!

* * *

Гаша соскочила со скамьи. Сердечко ее бешено колотилось. Накинув на плечи платок, она пробежала через горницу в двери. Печь уже начала остывать, в хате стало холодновато, но Гаша не чуюла холода. Прикрывшись с головой оде-

ялом, она выскочила в сени, прямо в объятия Александры Фоминичны.

– Вот в чем неудобство сельской жизни: нужник на дворе. Но это лучше, чем вовсе обходиться без нужника, как в том советской властью проклятом эшелоне...

Гаша прижалась к матери всем телом, горячо зашептала в ухо:

– Там люди, чужие люди!

– Да, мы с Наденькой видели их. Трое с ружьями, в военной форме...

– Они говорят по-немецки, мама? Это немцы? Но наш-то хозяин...

– Они говорят на немецком языке, Глафира. Но... – Александра Фоминична умолкла. Гаша снова почувствовала дурнотную усталость. Немцы! Все-таки враги настигли их! В ноздри навязчиво лез мерзкий запах пижмы. Ах, мама, мама! Кому теперь есть дело до твоих кос?

– Они коверкают слова, – проговорила Александра Фоминична. – Немецкий такой же чужой для них язык, как для деда Серафима.

– Они толковали о госпитале, мама! Им нужна рабочая сила. Мыть полы, стирать, выгребать дерьмо из нужников. Обещали за это паек.

– О, Серафим наш – добрый человек. Он конечно же обещал помочь. А как же иначе? – Александра Фоминична тяжело вздохнула. – Я тебе не сказала вчера... Мы ходили с На-

денькой в лавку... Глядь, а их целое село. Странная форма у Венгерского корпуса. Ни на наших, ни на немцев не похожа.

– Венгерский корпус... венгерский корпус, – твердила Га-ша, блуждая впотьмах по горнице.

Она заглянула в запечье, проведать девочек. Те спали. Га-ша потянулась через них, заглянула в лицо Иулиании. Ста-руха лежала на боку, раскинув по подушке седую косу. Гла-за ее были открыты, по лицу блуждала тень обычной ее пе-чальной улыбки.

– Спице, бабушка. Ночь еще не кончилась, – прошептала Га-ша.

– Христос с тобой, – отозвалась та. – Не отвергай и не бу-дешь отвергнута.

* * *

К вечеру присутствие в селе вражеских войск сделалось явным. Вооруженные люди в чужой форме сновали повсю-ду, заходили на каждый двор с автоматами наизготовку. Га-ша ежилась под их прилипчивыми взглядами, перевязывала платок, стараясь прикрыть лицо.

Командир части немецким языком практически не вла-дел, он часто захаживал на двор Серафима Феофанови-ча, о чем-то подолгу беседовал с ним на венгерском язы-ке. Александра Фоминична и Га-ша украдкой рассматрива-

ли лычки и шитье на его мундире, пытаюсь угадать воинское звание. Наконец, посоветовавшись с Клавдией, сошлись на подполковнике.

– А бабушка твой, Клава, – поинтересовалась Александра Фоминична, – разве начальником был на селе?

– Коли он был бы начальником, венгерцы его уж поставили бы к стенке. Но батя хороший мужик, проходимистый. Когда я родилась, он есаулом был. А потом, когда все станичное начальство поубивали, батя как-то устроился в колхоз писарем. Мы-то выжили, а вот мои старшие братья... Их нет...

Гаша настороженно посматривала на Александру Фоминичну, но та смолчала. Да и Леночка все время путалась под ногами – не поговоришь. Гаша целый день старалась, как могла, не упускать мать из вида, не давать ей возможности вступать с хозяином в ненужные, откровенные разговоры. Но все старания ее оказались напрасными. Александра Фоминична принялась за деда Серафима вечером, перед отходом ко сну.

– Вы владеете немецким языком? – строго спросила она.

– Овладел в империалистическую, – ответил дед Серафим.

– Я тоже...

Щеки Александры Фоминичны зарделись. Хозяин усмехнулся:

– Знаю, знаю, о чем ты думаешь, барынька.

– Раз уж вы осмелились перейти на личности, я тоже скажу...

– Мама! – Гаша умоляюще сложила руки. – Олька больна, а ты!.. Эти люди приютили нас...

– Пусть барынька говорит, – дед Серафим широко улыбнулся. – Давно живу на свете, много всяких слов слышал. А может, и так станется, что от твоей Шурочки новые слова узнаю.

– А вы, вы... – Александра Фоминична сникла под строгим взглядом дочери.

– Это не немцы. Ночью родная Красная армия ушла за Дон. Ростов пал. Это всего лишь навсего венгерские части. Такие ж хлебопахари и огородники, как мы, грешные. У меня еще цел поросенок и дюжина кур. Еще корова пока жива. Но война – прожорливая тварь. И мне вас не прокормить.

Гаша застыла.

– Но ты не бойся, пастушка. Я тебя к венгерцам определю на грязную работу. Скажу, что вы – родня жены из Борисовки. Тем более что лжи в этом не так уж много. Они дадут паек. Советую работать исправно. Будешь разумна – сэкономишь детей, будешь душой – героиней, защитницей отечества сделаешься. На твой, на ученый, взгляд, барынька, какая участь ядреней?

Александра Фоминична молчала, уперев взор в чисто вымытый пол...

Глава 3. Отто

Восторженный, смешливый шалопай, тщеславный и не злой – так рекомендовали ему Эдуарда Генкеля. Таким он и оказался. Невысокий, хрупкий, чрезвычайно подвижный, с открытым, улыбающимся лицом, с лейкой на пузе. Фронтовой корреспондент.

– Полтора года во Франции, – рапортовал он Отто, прикладывая руку к козырьку. – Я лечу с вами, и не хмурьтесь! Я – хороший попутчик. Имею фронтовой опыт.

И он похлопал рукой, затянутой в лайковую перчатку по пистолетной кобуре, болтавшейся на боку.

Они стояли на летном поле аэродрома, прятались от свежего ветерка под железным боком самолета. Эдуард без умолку болтал, но его голос тонул в гуле турбин, и Отто мог предаваться собственным размышлениям. Большая часть лабораторного оборудования находилась в чреве Gotha Go²¹, остальное уже болталось в воздухе где-то над русской степью. Отто хотел лишь одного: поскорее оказаться на месте, распаковать оборудование и приняться за работу. Самые важные штаммы он хранил при себе, в специальном контейнере, который не выпускал из рук. К сожалению, сотрудники отделения инфектологии, ученые и врачи будапештской

²¹ Транспортный самолет люфтваффе времен Второй мировой войны.

клиники «Терентет спринг» испугались войны, не захотели следовать за ним в Россию, а поэтому ему придется искать персонал на месте. Все эти грустные обстоятельства волновали его чрезвычайно и куда больше, чем смятение и гнев неумейной Авроры. Ах, он думал и о ней в последние минуты перед отлетом в неизвестность.

Они объявили о помолвке весной. С тех пор Отто потерял покой. Годы учебы в Венском университете и последовавшая за ними научная практика сначала на кафедре микробиологии, а впоследствии на кафедре иммунологии, диссертация доктора наук по тематике лечения тяжелых гнойных инфекций, светская жизнь в одной из прекраснейших европейских столиц – все это не оставило ему времени для женитьбы. Да и стоило ли связывать себя узами брака, в тот момент, когда мир распахнул ему объятия, обещая успех и славу? А с началом Мировой войны открылись новые, еще более заманчивые возможности. Ему предложили хорошую должность в одной из престижнейших клиник Будапешта. Прекрасное оснащение, квалифицированный, вышколенный персонал, инвестиции правительства... Конечно, после Вены, Будапешт несколько разочаровал Отто своей провинциальностью: не те голоса в опере, не так изысканны наряды и манеры дам, да и научный уровень специалистов клиники оставлял желать лучшего. Будапешт, хоть и европейская столица, но совсем не Вена. Нет, не Вена! Впрочем, после многолетней разлуки, родина приняла его тепло, и он

стал снова находить удовольствие в привычной с детских лет кухне. Притерпелся к прическам, туалетам и непритязательным манерам соотечественников.

Они встретились впервые на одном из приемов, кажется, это случилось в доме профессора Гестени. Ей чрезвычайно шло имя Аврора – Утренняя звезда. Сверкающие, темно-каштановые волосы, блестящие глаза, упругая походка спортсменки, белые, подобные жемчугам зубы, открытая улыбка, буйный, фонтанирующий темперамент. Она ничем не уступала венским львицам, и ее невозможно было не заметить. Мужчины и восхищались ею, и побаивались. Женщины пытались завязать дружбу и всерьез ревновали. Аврора, младшая из дочерей старого аристократического рода, жила привольно, как хотела. Увлекалась конным спортом, живописью, автогонками. Последним и самым страстным из ее увлечений стала фотожурналистика.

Любили ли они друг друга? В этот ранний час, укрываясь от свежего ветра под боком транспортного самолета, Отто думал о своей любви к неумемной Авроре. Через несколько минут вибрирующая железная машина унесет его в неизвестность, в чужую, непознанную и непонятную страну, на театр военных действий, возможно, на смерть. А если его постигнет увечье? А если планы гитлеровских бонз пойдут прахом и победоносная война затянется? Станет ли Аврора ждать или он потеряет ее? Авроре прошедшей весной исполнилось тридцать три года, ему в начале лета стук-

нуло сорок пять. Они оба созрели для брака. Но в дело вмешалась война. Мысль о том, что он кладет жизнь и личное счастье на алтарь науки оказалась щекочуще-приятной. Чувство невосполнимой утраты, которое, как он слышал, посещает солдат перед отправкой на фронт, обошло его стороной...

На этом он и успокоился, засмотрелся на блеклый свет автомобильных фар. На летное поле выкатил небольшой грузовичок с опознавательными знаками особой дивизии СС. От грузовика отделились одинаковые, словно отлитые в одной форме оловянные солдатики, черные фигурки в круглых касках. Лишь одна из них отличалась от прочих формой головы.

– А вот и прибыла наша охрана, – сказал Отто Эдуарду. – Сейчас мы поймеем удовольствие свести знакомство накоротке со штурмбаннфюрером Зибелем и его подчиненными.

Лицо штурмбаннфюрера скрывала тень от козырька фуражки. Отто видел лишь заостренный кончик прямого арийского носа, злые губы и твердый, безукоризненно выбритый подбородок. Глубокие носогубные складки и дрябловатая шея выдавали возраст эсэсовца. На вид ему было не менее пятидесяти, но он был прям и подвижен, перемещался стремительно, уверенной походкой властного человека. Зибель, небрежно приложив два пальца к козырьку, отрекомендовался им по-венгерски:

– Я и есть тот самый Зибель, Герберт Зибель – ваша на-

дежда и опора на ближайшие полгода. А может, и на более длительный срок, если на то будет воля Всевышнего!

Эдуард вытянулся во фронт и прищелкнул каблуками, салютуя.

– А! Достоинейший представитель ведомства Геббельса, – губы Зибеля изогнулись в улыбке. – Ваша братия имеет странное обыкновение пренебрегать осторожностью. Лезут всюду, знаете ли, не считаясь с обстоятельствами, а потом мы, простые рабочие лошадки войны, расхлебываем последствия неуместного мужества профанов. Держитесь крепче за вашу лейку, Генкель! Но не забывайте о наставлениях старины Зибеля!

Красноречие штурмбаннфюрера прервал штурман самолета. Он возник из сумерек, подобно призраку в летном шлеме и меховых крагах. Доложил коротко:

– К взлету готовы, господин штурмбаннфюрер! Прогноз погоды неблагоприятный. Ветер усиливается.

– Все в самолет! – скомандовал Зибель. – Эй, Рейнбрюнер! Поторопитесь! Марш, марш! Прошу и вас, господа. В такую погоду промедление чревато большими неприятностями.

– Похоже, господин Зибель и нас с вами взял под команду, – весело прошептал Эдуард, склоняясь к уху Отто.

Ах, мальчишка! Даже его одеколон имел странные цитрусовые, детские тона. Да разве такие ароматы должны исходить от настоящего воина рейха?

* * *

Их основательно поболтало и при взлете, и на посадке. Но сам полет не оставил следа в воспоминаниях Отто. Просто они летели на восток, на восходящее солнце. Под равномерное гудение турбин, его мысли снова вернулись к Авроре. Да, он стал женихом в сорок пять лет, а теперь, едва обретя надежду на семейное счастье, вынужден пожертвовать ею в угоду науке. Ему необходимо опробовать новые препараты. По слухам, боевые действия на востоке затягивались, и завершение войны к Рождеству многими и в самом рейхе, и в странах – союзницах Германии ставилось под сомнение. Говорили, что в России пленены сотни тысяч людей. Многие из отважных воинов вермахта ранены или убиты. За неделю до вылета ему звонил коллега из Вены. Он косвенно подтвердил эти слухи и настоятельно советовал Отто не откладывать вылет в район юго-восточного фронта. Пребывание вблизи передовой открывало большие возможности. Препараты требовали апробации на реальных пациентах...

* * *

В салоне самолета, закулив черепаховую трубку, Эдуард разложил на коленях карту Западной России. Все простран-

ство от границы с Польшей и Румынией до Уральского хребта было испещрено его карандашными пометками. Отто увидел красные и синие стрелы. Все они остриями смотрели на восток. Синие стрелы упирались в точку, обозначавшую столицу этой страны – Москву, а также в большую реку, извилистое русло которой пересекало Русскую равнину с севера на юг. Отто прочитал ее название: Дон. Синие стрелы убежали дальше к востоку, туда, где коричневым цветом обозначался горный хребет, где вилась самая крупная из обозначенных на карте рек – Волга.

– Вот тут еще один русский форпост, – Эдуард ткнул пальцем в карту. – Казань. Русский язык очень странный, не правда ли? Казань – какое странное слово!

– На Русской равнине живет много народов. Есть и довольно многочисленные. Не все они русские, – проговорил Отто.

– Да какая разница? Русские есть русские! – воскликнул Эдуард. – Дикий, необузданный, подлый, рабский народ! «Грабь награбленное» – как вам нравится их девиз? Теперь они поплатятся за свои воровские ухватки! Теперь ими будут управлять надежные люди, имеющие представление о законе и порядке! Рабы не должны выходить из воли господ, а большевикам и евреям оказалось не по силам управиться с неисчислимыми, подлыми стадами. Так пусть уступят место нам, арийцам!

– Покорение России – вопрос нескольких недель. Но даль-

ше начнется тяжкая работа по приручению диких, голодных, безграмотных масс к арийскому порядку, – задумчиво проговорил Зибель. – Нам предстоит долгая борьба. И те, кто думает иначе, – жалкие дураки.

– Мне странно слышать ваши слова, – заметил Отто. – Перед войной, когда я еще работал в Вене, ученые из России неоднократно приезжали к нам. И у меня сложилось о них самое благоприятное впечатление.

– Держу пари, – усмехнулся Зибель, – что все, кто вам так понравился перед войной в Вене, уже сгнули с лица земли или догнивают где-нибудь в Сибири. В противоположность нашему фюреру, «Отец народов» с трудом воспринимает научные новшества. Россия отстала от нас на века.

И он поднял руку в приветственном жесте наци. Его подчиненные отозвались на приветствие дружным «Зиг хайль!».

* * *

Самолет приземлился в голой, подернутой легкой туманной дымкой степи. На горизонте виднелись вытянутые силуэты тополей.

– Ну что же, – задумчиво проговорил Отто, отстегивая ремень. – Видно, не такая уж дичь. И здесь сажают тополя вдоль дорог. И здесь люди живут.

Но ни Зибель, ни Эдуард не слушали его. Штурман уже открыл дверь и выкинул наружу ступени трапа.

Снаружи оказалось тихо и безветренно. Штурман вполголоса нахваливал и себя, и пилотов, дескать, совершать посадку при таких погодных условиях на незнакомую площадку могут только истинные ассы. А Зибель, словно не слыша его, всматривался вдаль – туда, где из туманной дымки выступал невысокий холм. Ключья сизого тумана стелились по его склонам, оставляя открытой округлую вершину, увенчанную высокой башней.

– Это колокольня, – словно услышав мысли Отто, проговорил Зибель. – Дом их никудышного божества.

– Почему же никудышного? Разве они не христиане?

– Они недочеловеки и разругались со своим богом, как сварливые бабы собачатся на базаре. Эй, Генвель! Это и есть все ваше вооружение? По прибытии в Горькую Воду зайдите к Рейнбрюнеру. Он выдаст вам «беретту». И еще: смотрите в оба, Генкель! Русские коварны. Дикий зверь способен искалечить своего укротителя, даже будучи запертым за колючей проволокой.

Подчиненные Зибеля, повинувшись коротким командам, отдаваемым его заместителем, принялись выгружать из самолета оборудование. Отто огляделся. Неподалеку он заметил второй самолет. Кресты свастики чернели на крыльях. Возле него не наблюдалось никакого движения. Видимо, ящики с оборудованием были уже выгружены и направлены на место, в Горькую Воду.

– Надеюсь, мы удачно выбрали место, – снова загово-

рил Зибель. Голос его звучал глуховато во влажном воздухе, не так резал ухо гавкающий, прусский диалект. Смысл его отрывистой, ироничной речи ускользал. Отто глубоко вдыхал влажный, пропитанный ароматами осени воздух, как истый курильщик втягивает с непонятным для других наслаждением табачный дым. Отто старался с первых же минут получше пропитаться воздухом этих мест, проникнуться, понять. Серый, пластинчатый туман, тишина сельской местности, которая казалась особенно оглушительной после нескольких часов, проведенных в гудящем чреве самолета, – все напоминало ему родину.

Между тем на летное поле втянулась вереница машин: одна легковая и несколько грузовых. Человек в форме инженерных войск Венгерского корпуса вылез из «мерседеса» и направился к ним. Отто приходилось встречаться с ним в Будапеште – Вильгельм Патаки, обер-интендант. Он заверил Отто, что поселение Горькая Вода, расположенное на западной окраине Ростовской губернии, отлично подходит для их целей.

– ...Военнопленные придут на следующей неделе, а вторая вышка до сих пор не достроена. О чем думают инженеры Рихарта? Или они хотят, чтобы русские завшивленные мужланы растеклись по окрестным оврагам?..

– О чем вы, штурмбаннфюрер? – всполошился Отто. – Военнопленные? В Горькой Воде будет построен лагерь? В Горькой Воде есть и амбулатория, и небольшая психиатри-

ческая клиника. Оба здания расположены компактно за одним забором. Имеются небольшие лабораторные помещения, которые вполне возможно расширить. При чем тут лагерь для военнопленных?

– Уже построен, – Зибель обернулся к нему. – Однако эти недотепы-инженеры, ваши земляки, господин Кун, позволили себе допустить массу недоделок...

* * *

От полевого аэродрома до Горькой Воды оказалось не более пяти километров по непролазной грязи. Несколько раз их автомобиль безнадежно застревал, и отделение эсэсманов в полном составе выпрыгивало из кузова грузовика, чтобы извлечь их «мерседес» из колеи. Эдуард скакал по обочине дороги, не отнимая видеоискателя «Лейки» от лица. И при этом ни разу не оступился. Вот она, репортерская выучка!

– Да тут и пешком можно дойти, – храбрился он. – По стерне веселей шагается, нежели по эдакой-то грязи.

– И не вздумайте! – рявкнул Зибель. Штурмбаннфюрер расположился на заднем сиденье, рядом с Отто, и руководил действиями своих подчиненных через опущенное окно. – Вы плохо вооружены и чрезвычайно беспечны! Я запрещаю вам, слышите? Запрещаю покидать Горькую Воду без соответствующего сопровождения.

Их «мерседес» снова, в который уже раз, выбрался из вязкой грязи. Чрезвычайно довольный собой и своей «Лейкой» Эдуард вскочил на свободное место рядом с водителем, Зибель поднял стекло и продолжил нотации:

– Неблагодарная работа у интендантской службы! Наладить мало-мальски сносную жизнь в таких местах, среди... Эх, забыл, как это по-русски... – проговорил Зибель. – Проклятый язык! Шипящие звуки! Поистине змеиное коварство! Не завидую вам, господин Кун. Найти помощников в такой среде... На пять человек местных требуется хоть один из моих парней с автоматом и полным магазином патронов для поддержания порядка.

– Не следует приниматься за дело, не веря в удачу, – примирительно заметил Отто. – Следом за мной придут двое хороших врачей – патологоанатом и инфекционист – специалист по гнойным инфекциям. Общими силами, я надеюсь...

– Вот именно! – прервал его Зибель. – Общими силами! Вашими и моих ребят!

Эдуард задорно рассмеялся.

– Я буду помогать, господин Кун! У меня задание редакции: объехать окрестные селения, собрать материал о зверствах большевиков. Может быть, и я пригожусь для вашего гуманного дела. Вы ведь рассчитывали на добровольцев, волонтеров, не так ли? Я доставлю их вам!

– Чему ты радуешься? – Зибель внезапно перешел на «ты». – Надеешься своей храбростью напугать смерть?

– Смерть – естественное завершение жизни, – беззаботная улыбка Эдуарда сияла в зеркале заднего вида. – Вам ли, истинному поклоннику творчества мейстерзингеров, не знать этого?

– Хочешь поиграть с судьбой? – проговорил Зибель. Впервые за все время их пути к Горькой Воде штурмбаннфюрер обнажил голову. Череп его оказался безукоризненно гладким – ни единого волоска, лицо продолговатым. Высокий лоб от виска к виску пересекали глубокие складки.

Эдуард усмехнулся.

– Когда придет старуха с косой, а она скоро тебя достигнет, – продолжил Зибель, – найди в себе силы принять ее достойно. Не струсь. Продай ее русским подороже. Скоро, скоро ты увидишь, как они сражаются. Постарайся перенять лучшее, не стесняясь запятнать хваленую арийскую цивилизованность патиной варварских привычек.

* * *

В Горькой Воде Вильгельм Патаки приставил к Отто увальня Урбана Фекета.

– Ефрейтор Фекет! – произнес вислоусый мадьяр с короткими, под крутобокого крестьянского конягу закрученными ногами.

– Из каких мест? – коротко осведомился Отто.

– Из Ерчи, – рапортовал Фекет.

– Почти земляки, – вздохнул Отто.

– Я умею готовить, – заверил его Фекет. – Перкельт, паприкаш, ну и гуляш²², конечно. Что господин пожелает. Говядина в этих местах пока водится.

Фекет засмеялся, являя миру крупные, белые зубы.

– Ты познакомился с местным населением, Фекет?

– А то как же? Милые люди. Пашут землю, сажают на огороде горох и прочие овощи. Тут все почти как у нас. И абрикосовые деревья растут в садах.

– Мне нужны помощники, Фекет.

– Слушаю, господин! Завтра местный староста будет у вас.

* * *

Утром пришел сельский староста, смурной, огромный, седебородый, в длиннополом тулупе и высокой казацкой шапке. На пороге кабинета он снял шапку, явив взору Отто лихо завитый, белый чуб, поклонился низко, но с достоинством, представился:

– Серафим Феофанович Петрован.

Неугомонный Эдуард ответил ему столь же глубоким, ироническим поклоном, спросил коротко:

– Вы говорите по-немецки или нужен... толмач? Которое из трех слов является твоей фамилией?

²² Фекет перечисляет блюда венгерской кухни.

Слово «толмач» Эдуард произнес на русском языке, забавно коверкая и ухмыляясь.

– Нет, господин, переводчик мне не нужен. Фамилия моя – Петрован, – староста произносил немецкие слова чисто, почти без акцента, но очень уж медленно. – Немецкой речью я владею, но пишу плохо.

– Учил? – не унимался Эдуард.

– В плену прожил долго, – спокойно отвечал старик. – С девятьсот шестнадцатого по девятьсот восемнадцатый год...

– Погоди, дружище, – Отто поднялся, вышел из-за стола, положил ладонь Эдуарду на плечо. – Подчиненные передали мне, что вы можете помочь. Нужны люди, знающие немецкий язык и готовые к черной работе.

– Есть такие люди, – отвечал старик.

– Знание языка, по моим понятиям, подразумевает ведение записей под мою диктовку. Наверное, в вашем селе нам будет затруднительно найти таких...

– Я привел племянницу. Она может и писать, и говорить на вашем языке, господин... – ответил староста.

– Полковник медицинской службы второго Венгерского корпуса, – Отто старался произносить слова отчетливо. – Мне необходимо удостовериться. Вашей племяннице предстоит сдать экзамен.

Старик снова поклонился. Привели девушку. Крупная, с прямыми плечами и спиной, она высоко держала подбороро-

док. Длинные светло-русые ее волосы были заплетены в две тугие косы. На болезненно-бледном, усталом лице розовым бутоном алел рот, глаза были влажны, зрачки расширены, она всеми силами старалась скрыть сведавший ее страх, и это ей неплохо удавалось. Девушка села на предложенный стул, одернув простую опрятную юбку.

– Я не знаю, чему вас учили, фройляйн? – спросил Отто на немецком языке.

– Петрован, Глафира Петрован, – проговорил старик и добавил, обращаясь к девушке по-русски: – Ну что же ты, Га-ша?

– Я читала «Ифигению в Тавриде» и книгу песен «Анетта», «Оду к радости»²³. Больше ничего не смогла найти из веймарских классиков на языке оригинала, – она говорила тихо, медленно, старательно подбирая слова, и ни разу не ошиблась.

– О, дикая страна! – Эдуард всплеснул руками.

Отто диктовал ей статьи из учебника по биологии, а она писала, забавно выставив наружу кончик розового языка. Писала аккуратно, изящно наклоняя буквы вправо. Отто смотрел на серебряную сережку с изящно ограненным аметистом – словно сиреневая звездочка примостилась отдохнуть на нежной девичьей мочке, под светлым завитком. От нее пахло березовым дымом и пропаренной, гречневой крупой.

²³ Га-ша упоминает произведения Гёте и Шиллера.

– Вы приняты на службу в госпиталь, – сказал Отто. – Подойдите к обер-интенданту. Он выдаст вам униформу и паек, а в конце месяца получите жалованье.

* * *

Он снова увидел ее на следующий день, когда с железнодорожной станции прибыл груз с оборудованием. Одетая в белый халат и бахилы, она раскладывала по шкафчикам чашки Петри, отмеривала цилиндром и разводила в ведре дезинфекционное средство. Работала споро, уверенно, так, словно выполняла простую лаборантскую работу не впервые. Отто застыл в дверях лаборантской, наблюдая за ее движениями. Выверенные, точные, экономные. В ее крупном теле таилась огромная сила. Вот она наклонилась к деревянному ящику. Между досок выступали желтые завитки древесной стружки. На боку, на этикетке надпись на немецком языке: «Лабораторная посуда». Крышка ящика заколочена гвоздями. Девушка смотрит по сторонам, что-то ищет взглядом. Ей нужен гвоздодер. Вот она берет в руки инструмент из кованого металла, орудует им. Крышка отваливается в сторону, скалясь искривленными ножками гвоздей.

– Ловко, – бросает Отто.

Она оборачивается, щеки ее розовеют, в глазах появляется влажный блеск. Гвоздодер с металлическим стуком падает ей под ноги. Она смущается, щеки ее становятся пунцо-

выми.

– Русские девушки в таком юном возрасте читают Шиллера и Гёте? – Отто улыбнулся.

– Не все... – она заметно смутилась, отвернула лицо. Для работы она забрала косы под цветастый платок с бахромой. Такие платки носят женщины в этих краях, а у нее платок был белый с большими бордовыми и розовыми цветами.

– Разве обер-интендант не выдал вам специальную шапочку?

– Прошу прощения, господин Кун, – голос ее срывается. Она принимается развязывать платок, косы змеятся по ее плечам и, о чудо, он видит у нее в волосах атласные синие ленты.

– Синие глаза, синие ленты, алые губы, розовые ланиты, – Отто слышит собственный голос словно со стороны. – О, Россия! Синее и алое на белом!

А девушка между тем достает из кармашка шапочку из белой саржи с красным крестом и длинными тесемками. Она старательно заправляет косы под шапочку, но русые змеи, перевитые синими лентами, не умещаются под ней.

– Ах, вот в чем дело! – смеется Отто.

– Я укорочу косы, – обещает она.

Глаза ее влажно сверкают. Что с ней? Она напугана или возбуждена?

– Это недоработка обер-интенданта, фройляйн! Оставьте все как есть. Оставьте ваш чудесный платок.

Вот он, повод подойти ближе. И Отто приближается к девушке, отбирает у нее белую шапочку с тесемками, поднимает с пола цветастый платок.

– Я знаю, как это делают венгерские женщины, – произносит Отто. – Моя бабушка была простой крестьянкой, и она носила платок вот так...

Он снова слышит ее запах, но теперь дело подпорчено карболкой. Ах этот березовый дым и пропаренная гречиха! Ароматы России!

– Я пробыл в России совсем недолго, но успел полюбить эту страну.

– Эти места похожи на вашу родину, господин?

– Отто...

– Господин Отто.

– Хорошо, пусть так. Эти места не похожи на мою родину, но они полны очарования. Они пленительны. Вы не находите?

Она подняла ладонь, убрала бахрому со лба. Ему наконец-то удалось поймать ее взгляд.

– Я думаю, мы сработаемся, – проговорил он. – Мне необходимо написать научную статью. Может быть ряд статей. Надеюсь, что моя работа здесь выльется в полноценный научный труд. Вы могли бы помочь...

– Как?

– Я буду диктовать, вы записывать. Договорились?

– Конечно...

– Когда придет время – пришло за вами ординарца, фрой-ляйн.

* * *

Русские часы в его кабинете пробили шестнадцать раз. Хозяйка называет их чудным русским словом «ходики». Там, над цветастым циферблатом, за резными створками живет своей собственной жизнью странное, выкрашенное зеленой масляной краской существо. Каждые полчаса оно появляется из-за створок, чтобы поприветствовать Отто. За синим переплетом оконца уже догорает багровый, русский закат. Солнце зависло над изломом горизонта, окрашивая предметы в его комнате в розово-оранжевые тона. Стопка подушек, прикрытая ажурной салфеткой, синее стеганое покрывало с подзором из плетеных кружев, в воздухе витает аромат березового дыма и пропаренного зерна гречихи. Как зовут эту девушку с синими атласными лентами в волосах? Глафира, Гаша... Молодая, сильная, отважная.

А за окном русская степь, плетень, почернелые пеньки стерни торчат из-под тощенького снегового покрывала. Скоро их прикроют сугробы.

В дальнем углу двора дымит низкая труба. Баня. Странное слово, обозначающее бревенчатый домик. Внутри домика чан с горячей водой и большая печь с каменкой. Каменка – еще одно чужое слово, ласковое, нежное. Напротив каменки

высокие деревянные нары. Полок. Доски чисто выскоблены, потолок низкий, под ним крошечное оконце. В бане всегда царит сумрак. Отто слышал, как хозяйка пугала соседских детишек лешим, якобы живущим в бане, на чердаке. Если баню истопить, леший на своем чердаке оборачивается вокруг теплой печной трубы и громко сопит.

Отто вышел на крыльцо, закурил. Мрия-бобылиха суетилась вокруг бани то с ведрами, то со стопками дров. Ее пестротканая душегрея мелькала в сумерках туда-сюда. Следом за нею катался на своих ногах-колесах неугомонный Фекет. Они оживленно переговаривались о чем-то. Она говорила на родном наречии, он почему-то на коверканном немецком языке. При этом они, судя по всему, прекрасно понимали друг друга. Время от времени Отто слышал, как хозяйка произносит его имя:

– Господин Оттого... господин Оттого...

– Баня готова, господин Кун! – голос Фекета прозвучал глухо из темноты. Отто поднял лицо к небу. Ночь уронила на его лоб первые снежинки.

* * *

Отто заметил ее издали и поначалу не узнал. Неопрятно одетая, с растрепанной прической она тащила через госпитальный двор тяжелую бадью.

– Фройляйн Гаша! – окликнул он ее, но она не обернулась,

и он позабыл о ней до вечера.

Пришел транспорт с первой партией больных – пять тяжело раненных бойцов вермахта. Один из них – летчик с оторванной кистью руки. Потом еще один транспорт, еще раненые, тяжелые, едва живые люди, с оторванными конечностями, обожженные. Отто, увлеченный осмотром пациентов, не вспоминал о Гаше.

А вечером она явилась сама. Умолила сначала часового, а потом и Фекета пропустить ее, стала робко в дверях, ждала терпеливо, пока Отто поднимет взгляд от бумаг.

– Что-то случилось, фройляйн? – он старался казаться холодным и не задерживать на ней взгляд, как делал обычно. Слишком уж хороша была она в измятой, с надорванным подолом юбке, с растрепанной косой, без ленты, без обычных женских прикрас. Ах, ее глаза блистали тревогой.

– Что-то случилось? – повторил он.

– Моя мать больна. Тиф.

Не говоря ни слова, он поднялся, накинул на плечи шинель, схватил стетоскоп. По улице тащил ее под руку, стараясь унять дрожь от внезапно накотившего возбуждения. Она была так близко, так же пахла березовым дымом. Но на этот раз к запаху дыма примешивался осязаемый аромат крови. Что это? Признак наступления менструации? Ах, нет же! Она весь день возилась с ранеными!

Ему казалось, будто они бесцельно бродят по улочкам и закоулкам Горькой Воды, будто они влюблены, и время, и поздняя осень, и липкая грязь под ногами утратили для них всякое значение. Глафира время от времени заглядывала в его лицо, и он видел надежду с примесью застарелой усталости, он видел доверие, лишь слегка омраченное привычным страхом утраты. Она надеялась на него так, словно он являлся могущественным жрецом. Наконец они достигли дощатых ворот. За невысоким плетнем виднелся беленький домик с выкрашенными синей краской ставнями посреди запруженного полужидкой грязью двора. Из-за покато́й соломенной крыши выглядывали голые ветви старой яблони, чуть в стороне теснились черешни и ягодные кусты странного, колючего растения, называемого крыжовником. На противоположной стороне двора, под навесом был разложен нехитрый крестьянский инструмент, там же располагались загон и сарай для скота. Так выглядели все зажиточные усадьбы в этих местах. Га́ша открыла калитку. Зычно звякнул надвратный колокольчик.

Внутренне устройство дома старосты мало отличалось от временного жилища Отто. Та же горница в три окна, те же скамьи, застеленные домоткаными коврами, тот же сумрачный лик скорбящей Мадонны, подсвеченный жидень-

ким огоньком лампы. Большую часть комнаты занимала огромная, свежесвыбеленная и жарко натопленная печь. Кто-то возился и шептался за ней. Время от времени слышался надрывный, на высокой ноте, плач. В углу стояла кровать с металлическими шишечками на спинке.

– Это дети, господин Отто, – шепотом пояснила Гаша. – Мои племянницы, сироты.

Больная лежала на кровати, накрытая до подбородка теплым стеганым одеялом. Женщина оказалась немолода, на вид ее было не менее сорока пяти лет. Очень похожа на свою дочь, только, на вкус Отто, еще красивее. Лоб и щеки ее покрывала испарина, в разметанных по подушке волосах – ни сединки. Отто сосредоточенно выслушал больную, посмотрел белки глаз, язык, справился о температуре.

– Это не тиф, – сказал он удовлетворенно. – По счастью, фройляйн ошиблась. В данном случае мы имеем дело с заурядной инфлюэнцей. Как вы чувствуете себя, милая?

Он взял больную за руку, чтобы еще раз пощупать пульс.

– Мой дочери, мои внучки... они здоровы? Они со мной? – ответила больная.

– Как ваше имя? – спросил Отто по-немецки. Он глянул на Гашу, надеясь, что та переведет, но больная опередила ее.

– Александра Митрофанова... Александра Фоминична... Мои дочери – Женя и Глафира... Мы бежали из Киева... долго скитались... мои девочки... танки в Борисовке... кровь в Днепре... – она бормотала, словно в бреду на чистой-

шем вестфальском диалекте.

– Как, разве ее фамилия не Петрован? – Отто обернулся к хозяину дома.

– Моя фамилия – Митрофанова, – одними губами ответила Гаша. – Мы пришли к дяде Петровану из Борисовки.

Отто заметил, как она посматривала на мать, какой живой тревогой светились ее глаза, как трудно задышала, как распахнула глухой ворот кофточки, обнажив ложбинку в основании шеи. Отто снова испытал мучительный порыв возбуждения. Только бы не выдать себя раньше времени! Он обернулся к больной, но та уже впала в тяжелое, тревожное забытие.

Хозяин дома и пожилая крестьянка, в цветном платке с бахромой и темном платье до щиколоток стояли плечом к плечу при входе в комнату. Хозяин пристально смотрел на него из-под нависших, седых бровей.

– Разве фройляйн не ваша племянница? – Отто напустил на лицо самую обворожительную из своих улыбок.

– Она моя племянница, – твердо сказал старик. – Они пришли из Борисовки. Они – беженцы.

Уходя, он услышал, как старик что-то шепнул Глафире.

– Ты нравишься ему. Ублажи уж его. Прояви старание, – сказал он, и Отто запомнил его слова. Странные русские слова: ублажить, старание...

На следующий вечер, после тяжелого дня в госпитале, Отто послал за Гашей Фекета. Она явилась так скоро, словно всю дорогу бежала.

– Я продиктую наброски статьи, фройляйн. Присаживайтесь, – он старался держаться так, будто и не было вчерашнего визита в дом Петрована. А она бестрепетно уселась на табурет, оглядела письменные принадлежности. На лице ее, как обычно, немного усталом, лежала печать безмятежности.

– Готовы? Я начинаю диктовать, а вы старайтесь писать разборчиво. Итак. Для первой серии опытов необходимы пациенты в разных стадиях развития гнойной инфекции раневых поверхностей, как огнестрельных, так и осколочных ранений. Для участия в эксперименте необходимо привлечь не менее десяти человек – добровольцев в возрасте двадцати – сорока пяти лет. Динамика угнетения развития стафилококка, энтеробактерий, псевдомонад, бактероидов, грибов фиксируется при помощи селективных сред в лабораторных условиях... Вы успеваете, фройляйн? – спросил Отто.

– О, да! Когда речь идет о медицинских терминах, мне проще, – она улыбнулась. – С разговорной речью немного сложнее...

– Вы хорошо разбираетесь в медицине?

– Да. Мой отец был врачом. И моя мать. Она преподавала

биологию в медицинском институте...

– Помнится, вы говорили, что вас не приняли в университет. А между тем, несмотря на молодость, вы чрезвычайно одаренный врач. Вы можете стать классным инфекционистом. Я наблюдал, как вы работаете. Кроме старательности и трудолюбия вы обладаете даром. Это несомненно! Нет, не смущайтесь. Я просто констатирую факт.

– Меня не приняли из-за отца. Несколько лет назад он пропал. Нам сообщили, что он виновен во многих преступлениях и что он признал свою вину...

– Вы верите этому?

Она молчала.

– Вы ненавидите советскую власть?

Она отвернула лицо.

– Отвечайте!

– Я люблю свою родину и еще...

– Что?

– Я верую.

– В советскую власть?

– Нет, в Бога и в Святую Троицу.

Она снова, как при первой их встрече, вздернула вверх подбородок. Он улыбнулся.

– Хорошо, милая фройляйн! Надеюсь, твердость вашей веры поможет нам достичь наших целей, ибо наши цели гуманны и ни в чем не противоречат Священному Писанию. Итак, оставив в стороне эмоции, вернемся к нашей науке...

Гаша писала старательно, по обыкновению выставив наружу кончик языка. Перо шуршало, выводя на листе слово за словом, она откладывала исписанные листы в сторону. Ах, он успел за эти дни полюбить ее странную повадку, переворачивать исписанный лист тыльной стороной кверху. Крупная, сильная кисть, длинные пальцы, а запястье узкое, нежное, сквозь тонкую кожу просвечивают голубые вены. Отто тяжело вздохнул, снял очки, потер глаза.

– Вы больны? – она наконец подняла голову и посмотрела на него.

– О, да...

– Как же так? – она растерялась, глаза ее отуманились горечью. – Разве вы не можете себе помочь? Вы же врач... Инфлюэнца заразна и...

– Это не инфекция. Видимо, ко мне пристала ваша русская тоска. Эти степи вокруг и эта тьма... Разве может человек всегда быть один? Я грущу и от этого... Я много старше вас, фройляйн, и уже познал себя. Со мной всегда так. Стоит только удалиться от дома, от близких и начинается... И ничего нельзя поделать!

Она опустила голову и уставилась в исписанные листы. Потом что-то сказала на русском языке. Он улыбнулся:

– О чем вы, фройляйн? Не обо мне ли грустите?

– Вы скучаете по жене?

– Я не женат.

Она снова посмотрела на него, на этот раз с недоверием.

– О, да! Я – выродок. Сущий выродок. Погряз в науках, не успел жениться.

– Я готова, если вам угодно, помогать во всем... – внезапно проговорила она. – Вы только подскажите как. Руководите мной.

– Какая вы отважная девушка! И красивая...

– При чем тут отвага? – она смутилась.

– Настоящие женщины находят удовольствие в повиновении, – проговорил он. – Вы из таких?

Полумрак не помешал ему заметить, как зарделись ее щеки.

Недолго помолчав, она ответила вполне твердо:

– Да. Но, видимо, я еще не познала себя.

– Тогда у вас есть возможность познать меня. Познать до дна. Я готов открыться вам. Открыться весь, отдаться всецело. И тогда, через меня вы, может быть, лучше познаете себя самое...

Она кивнула, не поднимая глаз. Что это, притворное смирение, или?..

* * *

Ноябрь катился к концу, но зима все не наставала. Снег выпадал и таял, растворяемый ледяными дождями. Ни осень, ни зима. Вот она, знаменитая русская тоска, скука. Фронт затих в отдалении. В госпитале жизнь шла сво-

им чередом. Лабораторное оборудование было распаковано и расставлено по местам. Дизель-генератор запущен. Штурмбаннфюрер Зибель отбыл в соседний городишко да и пропал, занятый какими-то неотложными делами. То ли застрял в непролазной грязи, то ли перестал волноваться о судьбе своего подопечного. А тут и первые пациенты прибыли. Началась настоящая работа. Гаша по многу часов проводила в лаборатории, вела записи, брала кровь у пациентов, готовила лабораторные образцы.

Наступившая наконец гнилая зима принесла под полой первые неудачи. Трое пациентов – немецких солдат, добровольно согласившихся на применение нового лекарства, умерли от прогрессирующей гнойной интоксикации. Лекарства, изобретенные Отто, не дали ожидаемого эффекта. Четвертому пришлось ампутировать обе ноги. Но операция была сделана слишком поздно. Умер и он. Отто корпел в реакторной, кричал, ругался. Удрученный и злой он вспоминал о Гаше только по вечерам, когда требовалось делать записи. В хозяйской хате не было электричества, и он устало тер близорукие глаза, просил хозяйку топить баню, подолгу лежал на верхней полке, во влажной духоте, дожидаясь прихода Гаши.

Гаша приходила сама, не дожидаясь зова. Она действительно оказалась отважной и опытной, любила приходить под конец, когда банный жар уже истаивал потом. Тогда она заставляла Отто в блаженной полудреме. Незадолго перед ее

появлением он открывал дверь в парилку настежь, а дверь из предбанника на улицу лишь слегка прикрывал. Под низким потолком банный жар смешивался с ноябрьской промозглой тишиной. За дверью тихо моросил последний в этом году дождик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.